

ДЕЛО

№ 128

Имя

Фамилия

№

**В. КОРАБАНОВ
Ю. ГОЖЧАРОВ**

ВОЛКИ

УГОЛОВНЫЙ РОМАН

В. КОРАСЛИНОВ, Ю. ГОНЧАРОВ

ВОЛКИ

УГОЛОВНЫЙ РОМАН

ЦЕНТРАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ
ВУРСНЕЖ. — 1998

Окраска волков в основном серая, поэтому они мало заметны в сумерки, когда выходят на добычу.

БСЭ, т. 8, стр. 623

День первый

Последний день Афанасия Мязина

– Это не существенно! – пронзительно кричал Писляк. – Это не существенно! Это упрямство! Это с вашей стороны больше ничего, как упрямство!

Он привскакивал со стула, растопыренными короткими пальцами мельтешил перед усталыми глазами старика, сучил кривоватыми, обутыми в тонкие хромовые сапожки ногами.

Кричали все: и темная, большеротая, носастая, похожая на ворону Олимпиада, и рыженькая Антонида, и провонявший грибную плесенью дядя Илья. Но Писляк всех громче и всех противней. Его резкий характерный выговор сверлом буравил у виска черепную кость.

Плоская, с глазами-щелками, с торчащими, как самоварные ручки, лопушистыми ушами физиономия Писляка всегда кого-то напоминала Мязину – то ли из множества виденных за долгую жизнь людей, то ли из прочитанного давным-давно, возможно, еще в отрочестве, но кого – он так и не мог припомнить.

«Ох! – простонал Мязин, поеживаясь. – Вот денек...»

Они никогда не баловали его своим вниманием, но сегодня вдруг все собрались («весь мязинский помет», как говаривал покойный папаша) поздравить с днем рождения, с семидесятилетием, – обе сестры, зятек Писляк, дядюшка Илья Николаич... Олимпиада так даже сына прихватила – для большей торжественности, что ли. Сидел Колька, громадный, молчаливый, весь налившийся кровью, в моряцкой фуражке на белых льняных кудрях, разглядывал узловатые ручищи с синими наколками (якорь и цепи на одной и голая девка со щучьим хвостом – на другой), в разговор не вмешивался. Иногда дружелюбно даже подмигивал: «Держись, мол, дед, не сдавайся!» Привыкшему на своих плотках к речному простору, к ветру, к вольной жизни сплавщика, Николаю было явно не по себе от этой душной низкой комнаты, от визгливых, злобных выкриков, от всего того бессмысленного и жестокого, что происходило возле больного Мязина.

А происходило вот что.

Старик пенсионер, некогда блистательный герой гражданской войны, вдруг заболел, слег в постель и, как все редко болеющие люди, испугавшись смерти, составил завещание. И вот то, что он вдруг заболел и сделал какие-то предсмертные распоряжения, а главное, то, что родственники оказались обойденными, обиженными этими распоряжениями, – вот это-то и привело их всех в мязинский дом, как будто бы для того, чтобы поздравить больного с днем рождения, а на самом деле – чтобы уговорить, принудить переписать завещание.

Весь день шумели родичи.

– Упрямство! Упрямство! – долбил Писляк.

– Грех тебе, Офоня! – зловеще, как над покойником, вычитывала Олимпиада. – Великий, братец, грех, непощенной, незамолимой... Единоутробных забвение, кореня своего непочитание...

– Мы ль о тебе не пеклись, – взвизгивала Антонида, – мы ль не радели тебе...

– Дом-от кто наживал? – черным шмелем гудел Илья. – С родителем-то твоим, а? Кто, спрашиваю? Фирма-от как писалась? Братья Мя-зи-ны!

Взъерошенный, с черно-седыми космами на крутом загривке, с овчинными смоляными бровями, жилистый, крепкий, не по годам легкий в движениях, он походил на старого матерого волка, все еще не уступающего молодым, все еще пытающегося верховодить стаей... Мязину казалось, что у Ильи и глаза-то временами загораются дикими волчьими огоньками...

Он молчал, поглядывал на всех: волки!

Олимпиада – узколицая, в монашеском, сколотом под острым сухим подбородком платке, надвинутом на лоб низко, до самых сросшихся у переносья бровей...

Антонида – неукротимо-злобная, яростная, с жиденькими, растрепавшимися из-под шали, грязновато-желтыми волосами...

Писляк, ее муж, директор кладбища, прохвост, темный делега, продажная шкура...

Волки! Волки!

Один Николай – человек: и часу не просидев, вскочил, крикнул:

– А ну вас всех к богу! – и, грохоча сапогами, пошел к двери. Сослался на то, что к вечеру надо собраться, поспеть на буксир, идущий в верховье за плотами.

Он ушел, а остальные еще долго сидели возле старенького продавленного дивана, на котором полулежал Афанасий Мязин, когда-то гроза басмаческих шаек, кавалер двух орденов Боевого Знамени, тех, что еще носили на пунцовых бантах, похожих на диковинные розаны.

Чего только не выложили ему родичи!

Безжалостно топтали имя сына – Гелия, шипели, что порешит отца за то, что погубил, старый дурак, его, Гелькину, служебную линию...

– На священное отцовское звание не поглядит, щенок! – кричал Писляк.

– Бери-ка, Офоня, перо, – ровно читала Олимпиада. – Духовну-то пиши по справедливости, по-божецки...

– Кипеть ведь в котлах-то адовых! – встревала неугомонная Антонида. – Кипеть! Шлём-от носил, звезду пятиконечну...

– Концов-от пять! – стращала Олимпиада. – Кои суть что? Поразмысли-ка: любострастие, сыроядение, богоборство, греховно мечтание, анафемска слава... Бесовска печать – вон чего!

Мязин усмехнулся: помнят, не прощают! Любострастие – что невенчаный жил с покойной женой, сыроядение – что по совету врача пил кумыс, богоборство – что икон в доме не держал... Греховное мечтание и анафемская слава были непонятны. «Наверно, картины и книги», – подумал Мязин.

Пусть даже в кратком сне забыться б сейчас, вычеркнуть из сознания эту комнату, этот бестолковый шум...

Но нет!

– Не существенно! Не существенно!

– Один ведь живешь-от... на отшибе...

– Не ровен час – ночным делом-то...

– А ты – по-божецки, по справедливости!

– Фирма-от как писалась?

– Звезда пятиконечна... Поразмысли-ка!

Вонища. Духота. Ладанные зернышки в кармане Олимпиады. Кипарисовый дух лёстовочных ремней. Антонидина помада – из-под шали. Запах грибного варева, пропитавший засаленную телогрейку Ильи...

Разошлись в сумерках, так ни до чего и не договорившись, но пуще прежнего накормив злобу, разбередив душевные болячки.

И остался Афанасий Мязин один.

Ни мирный треск сверчка-чурюкана, ни ровный сонный шепот вечернего скоротечного дождя, ни уютные потемки обжитого милого дома не принесли успокоения. Рваными кусками лиц, слов, жестов мелькал перед Афанасьевым тусклым взором прожитый день. В темных углах комнаты то появлялись, то исчезали странные плоские тени: тень Писляка, тень Ильи, тени сестер.

И это были они и не они. Глаза мерцали в загустевшей темноте зеленоватыми огоньками.

«Волки...»

Тут слеза навернулась, страшно сделалось умирать. И жалко, до боли стало жалко отдавать этим плоским уродливым теням дом, где столько светлых, счастливых пережито минут, книжные шкафы, картины, коллекции, чертежи запатентованных и незапатентованных изобретений, вышку на крыше – бельведер, на котором стоит телескоп, – ну, не бог весть какой, не пулковский, конечно, а все же приближающий Луну к городу Кугуш-Кабану настолько, что черная россыпь кратеров и горных цепей – словно бы за окном, рядом...

Так, не то сидя, не то лежа, уже в полной ночной темноте и задремал Афанасий Мязин, во сне наконец вспомнив, кого напоминал Писляк: человека-свинью, злобную, коварную тварь из давным-давно прочитанного романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро».

Грибоварня

В частом ельнике, черневшем угрюмо и даже зловеще, вечерний сумрак почти перешел в ночь, и Костя потерял тропинку окончательно.

Вот и короткая дорожка! Надо же было послушаться Елизаветы Петровны! Это только местным здесь ходить. Тропинка-то на поверку оказалась и не тропинкой вовсе, а так – едва заметный глазу следок по мху и травам. Пошел бы он той, уже ему знакомой проезжей дорогой, какой шел к Елизавете Петровне в пионерский лагерь, – давно уже был бы в городе.

Ишь, чащоба-то вокруг! Медведь, конечно, не задерет, а вот в трясину какую-нибудь ухнуть с головой – очень даже просто...

Издали послышалось что-то похожее на короткий паровозный гудок. Не тот ли это самый паровичок, что ползает с платформами среди куч ошкуренных бревен по территории кугуш-кабанской лесопилки? Или это всего-навсего слуховой мираж?

Крупная, не знакомая Косте птица, уже устроившаяся на ночлег и потревоженная его шагами, сорвалась с дерева и с тяжелым шумным махом крыльев, низко над землей, мелькнула в древесную чащу на таком близком расстоянии, что Косте даже показалось, будто чем-то расплывчатым и темным его ошутимо-мягко мазнули по лицу.

Еловый лес не редел, напротив, становился все непролазней: чтобы двигаться, приходилось с силою продирается сквозь сомкнутые колючие лапы, с треском ломая сучья.

Костя догадывался, что идет неправильно, что лесное эхо исказило звук, обманно поманило его не туда, куда надо, вот что оно такое – северная лесная глухомань! Где-то совсем неподалеку город с многотысячным населением, с телефонами и радио, электрическим светом, трубами промышленных предприятий и всем иным прочим, чему полагается быть в каждом нормальном благоустроенном городе, а он, всего в нескольких верстах от него, схвачен в плен совсем еще дикой, не знающей человеческой власти природой.

Все в нем было уже готово к тому, что он так и будет бесконечно брести сквозь колючие заросли по хрусткому валежнику и хлюпающим болотным мхам, не находя дороги, жилья, человеческого следа, когда сквозь листву и сучья потянуло горьким смолистым дымком.

Пройдя еще немного, он разглядел и оранжевый блеск огня.

Большой, жарко полыхающий костер лизал днище громадного котла. Отсветы потрескивающего пламени вспыхивали и притухали на грудах ящиков и бочек, наваленных по сторонам, розовато красили мшистую крышу бревенчатой избушки, приткнувшейся у края поляны. Два человеческих силуэта шевелились возле котла. Костя взгляделся, заслоняясь от света ладонью. Укутанная рваной шалью, малорослая сутулая бабка в черном до пят сарафане и взъерошенный, с космами на загривке старик ходили вокруг пламени, жердями подсовывая под днище котла пылающие поленья. Сухие, в беспорядке разметанные клочья волос на стариковой голове огнисто блестели. Казалось, в них тлеют искры, разлетающиеся от костра в окрестную черноту, и старикова голова вот-вот вспыхнет таким же жарким пламенем, какое струилось с земли от толстых суковатых поленьев.

Станным, даже каким-то нереальным представилось Косте зрелище вдруг открывшейся ему поляны, окруженной частоколом сине-черных высоченных елей, в мятущихся кроваво-красных отблесках, с чаном, клопочущим непонятным варевом, с черными и тоже производившими впечатление полной нереальности человеческими фигурами, двигавшимися вокруг пламени как-то до того необычно, что телодвижения эти можно было посчитать за медлительную беззвучную пляску или ритуальный обряд.

Ни на его «здравствуйте», ни на его вопрос о дороге в Светлогорск, то бишь Кугуш-Кабан, как звался городишко исстари и как упрямо, не приняв казенного переименования, продолжает звать

его местное население, ни старик, ни старуха не промолвили ни слова. Так же размеренно подвигаясь вокруг костра, они продолжали молча шуровать уголья.

Костя понял, что ему остается только одно: терпеливо выждать, пока кострожоги сочтут нужным сами обратить на него внимание.

– Кому же это похлебка такая? – спросил он с любопытством, заглядывая в чан и тут же отшатываясь из-за сильного жара, опалившего лицо.

Он уловил, что молчащие старик и старуха, как бы вовсе не заметившие его появления и не кинувшие на него ни одного прямого взгляда, однако искоса и настороженно, с очевидным, но только искусно запрятанным интересом стараются его разглядеть.

Ну и сторонка! Ну и народец в здешних местах! Впрочем, их тоже надо понять: неведомый человек, с неведомой им целью вынырнул вдруг из тьмы леса...

– Кому ж, говорю, похлебка такая? – переспросил Костя, не смущаясь явным недружелюбием. После нешуточного страха, которого он в преизбытке поднабрался в болотистой, топкой чащобе, встреча даже с самой нечистой силою и то была бы ему в радость.

– Пошто похлебка! – невнятно, в себя, ответила старуха. – Не видишь, чо ли... грибы...

Костя уже и сам разглядел, что адова эта кухня посреди болот и глухого леса – не что иное, как прозаическая грибоварня. Сюда, на эту поляну, сборщики доставляют из лесу грибы – вон сколько их в корзинах возле весов. Каких только нет! Здесь их перебирают, моют, отбрасывают некрепкие, тронутые червем, в котле этом кипятят, потом засаливают в бочках и отправляют. Начальником всему делу – местная «Плодоовощ», а тут, на поляне, у котла и бочек, главный командир – взъерошенный старик. Это доложил Косте уже он сам, видно, найдя, что неприлично молчать далее с веселым и простым на вид человеком. Голос у старика оказался такой же глухой и надтреснутый, как и у старухи, как бы отсыревший в вечной мокроте нездоровых болотистых здешних лесов, и к тому же еще и шепелявый: старик не говорил, а скорее гудел с пришипом, совсем вроде того, как гудит мокрый от росы, тяжелый, крупный мохнатый шмель.

На втором десятке своих слов он попросил у Кости курева, разорвал сигарету, смешал на ладони табак с каким-то крошевом, которое достал из кармана замызганной телогрейки, и сладил из газетного обрывка крючок. Для прикура он откатил носком сапога от костра рубиновый уголек, свободно взял его пальцами, видно, совсем не чувствуя жара, и держал так чуть ли не с минуту, пока не разжег как следует свою самокрутку.

– Гриб ныне уродило, жалиться нечего... Да никудышний, язвы его... С центера – пуд, самое многая, в дело, ну, полтора, а то – все сор, гнилье... Черва его грызет...

Разъеденные жаром и дымом веки старика под жесткими, будто проволочными бровями моргали болезненно. Ему, должно быть, перевалило уже за семьдесят. Но угадывалось, что в нем еще сидит немалая, крепкая и как-то недобро настороженная сила. Он даже к Косте не настроился приязненнее, хотя вроде бы уже и познакомились, и даже куревом Костиным он попользовался в свое удовольствие.

– Как же вы тут одни управляетесь? – тоже закуривая, посочувствовал Костя. – Вот эта бабушка – и весь штат? – кивнул он на старуху, которая тою же самую жердиною, какую шуровала уголья, мешала теперь в котле варившиеся грибы.

– Девки с городу приходят... А она – так... доброволка. Подсоблят. У ней свое дело. На острову церковь караулит. Круче, круче мешай, до низу самого штоб! – грубовато прикрикнул он на старуху. – Рушили церковь, рушили, убранство все посодрали, стояла кинутая, без призора, тащи каждый, чего хошь... Хотя всю, матушку, уноси, ежели осилишь... А теперь, вишь, кому-то в голову ударило – памятником объявили... Эй, Таифе, жалованье даже положено, тридцать два рубли в месяц. Огород дозволили вспахать. А там и караулить-то уж неча – все как есть пораскрадено... Народ-от нынешний какой? Прежде бога боялись, закон блюли, чужое уважали. А как пошло это... грабировка эта самая... Человек наживал-наживал, старался, а у него – хап! А самого, без вины виноватого, с родного гнезда да как убивца какого – на самый край света... Да голодом, да неволей там морить... Ну? Где уж тут что сохранным будет... Бога отринули, закона истинного нету, сами закон пишут, какой сподручней... Тот-то закон был божецкой, им люди не один век жили, и отцы наши, и праотцы...

Маленькие глазки деда сверкали, отражая пульсирующее пламя костра. Ох, видать, крепкие и немалые обиды крылись в его ожесточенной, вынужденной себя смирять, но так-таки и не смилившейся душе! «Дай ему волю, – подумал Костя, – посчитался бы он за эти свои обиды, показал бы, какие еще зубы могут быть у старого волка!..»

Гудливый, с пришипом, голос его продолжал звучать в ушах, даже когда Костя уже далеко отошел от грибоварни по дороге к городу, которую указал ему старик.

«Илья!» – вспомнилось ему, как окликнула злого взъерошенного грибовара старуха, подзывая, чтоб пособил сунуть в костер тяжелую чурку. Уж не есть ли этот грибовар – Илья Николаич Мязин, родственник тех Мязиных, что проживают в городе, и, стало быть, имеющий родственную связь и с Елизаветой Петровной? Помнится, она говорила и про этого Мязина, Илью Николаича, бывшего до революции одним из владельцев лесопильной фабрики, потом потерпевшего от Советской власти, отбывшего ссылку и теперь тихо и незаметно доживающего жизнь на разных случайных заработках.

«Эх, дурак! – обругал в сердцах себя Костя. – Как же это я не догадался спросить! Голова замедленного действия... А еще – следователь!»

«Магдалина»

Афанасий Мязин проснулся от неприятного смутного ощущения какой-то опасности, еще не понимая отчетливо, во сне или наяву почудились ему эти шорохи, скрип в сенцах, чирканье спички о коробку, неуверенные шаги.

Приподнявшись на локте, он прислушался: темная тишина, спокойное бормотание старых, еще отцовских стенных часов. «Ох, нервишки! Темноты стал бояться, словно малый ребенок...»

Сел, нащупал ногами шлепанцы. Жалобно, мелодично пропела под тяжестью его тела диванная пружина, и тотчас из непроглядной черноты послышался знакомый бас:

– Живы, отче?

– Евгений Алексеич! – обрадовался Мязин. – Где вы там скрываетесь? Входите, дорогой...

– Свет можно включить?

– Ну конечно...

Щелкнул выключатель. Мязин зажмурился. Боже, какой хаос, какой ералаш! Стулья, отодвинутые от стен, оставленные как попало, сбитый, скомканный коврик, грязные следы на полу...

Громадный краснолицый старик в несуразно крошечной, словно бы детской, панамке на копне сивых волос стоял у двери, удивленно и чуть насмешливо разглядывая комнату.

– Нуте? – расставляя стулья по местам, спросил он. – Выдержали осаду нечестивых?

Мязин слабо махнул рукой.

– Содом и Гоморра! – продолжал старик, усаживаясь рядом с Мязиным на диване. – На все заречье звон, мязинское племя братана дерет... Срамотища!

– «Братана дерет!» – усмехнулся Мязин. – Метко сказано. Жестоко.

– Не поддались? – пытливо поглядел Евгений Алексеич.

Мязин молча покачал головой.

– Ну и расчудесно, что не поддались. А то я, сказать по правде, мало-маленько опасался.

– Чего опасались?

– Как чего? Не выдержите. Поддадитесь Писляку с сестрицами.

– Нако-ся! – сердито сказал Мязин. – Вот им, сестрицам!

– Хо-хо-хо! – словно в порожнюю бочку, забухал Евгений Алексеич. – «Взять вервие и изгна их из храма»? Ну, ладно, – спохватился он, – ежели такое дело, завтра чем свет полечу к нотариусу. Скажу, чтоб зашел к вам исполнить формальности...

Мязин вынул из-под подушки довольно потрепанный кожаный портфель.

– Вот, – сказал он, – здесь все: и черновик завещания и перебеленный экземпляр.

– Ну, спаси вас Христос, почивайте себе на здоровье... Ох, люди! Гомо гомини люпус эст, – пророкотал старик, напяливая панамку. – Свет-то погасить или как?

– Не надо, – сказал Мязин, – все равно спать не буду, разгулялся... Послушайте! – окликнул он гостя, когда тот уже взялся за ручку двери. – Евгений Алексеич!

– Аюшки?

– Подойдите ко мне на минутку...

Старик вернулся к дивану.

– Что-то мне все ужасная гадость лезет в голову, – Мязин сконфуженно улыбался, отводя в сторону глаза. – Хочу вас, милый друг, попросить об одном... Хотя и неловко, право, да что ж поделаешь...

– Пожалуйста, без церемоний, – сказал Евгений Алексеич.

– Я понимаю, вам смешно может показаться... – Мязин искоса, тревожно поглядел на темные окна. – Пожалуйста, задерните занавески... Вот так.

– Ну те? – старик явно недоумевал. – Давайте выкладывайте.

– Возьмите к себе «Магдалину», – сказал Мязин.

– Что-о?! – Евгений Алексеич вытянул руки ладонями вперед, как бы защищаясь. – Да вы что, бабушка, в уме?

– Право, возьмите! – умоляюще прошептал Мязин. – Ну, хотя бы на нынешнюю ночь...

Какое-то время старики молча разглядывали друг друга.

– Вот что, отче, – наконец решительно сказал Евгений Алексеич, – любое дело справлю для вас, гору сокрушу, выше тмени прыгну, но это... увольте, Афанасий Трифонович! Наотрез увольте-с!

– Да поймите же, – с жаром заговорил Мязин, – тут вовсе не причуда моя, нет... Какое-то предчувствие, я и сам не смогу вам объяснить, откуда оно, ощущение неотвратимой беды... У меня на душе спокойней стало бы, если б вы унесли из дома «Магдалину»... До поры до времени припрятали ее у себя...

– Чепуха! – воскликнул Евгений Алексеич. – Ерундиссимо! Не врач, но диагноз ставлю безошибочно: расстроенное болезнью воображение. Да-с. Вот как-с. В жалкой мурье моей содержать такую немислимую драгоценность?! Господь с вами! Эко сморозили!

– Мне страшно, – сказал Мязин просто, – вот в чем дело. Ослаб я, друг мой. Смешно сказать – до двери не дойду, чтоб запереть за вами...

– Давайте, коли так, переночую у вас сегодня. Вот тут, у порога, и примощусь, яко Цербер мифический...

– Ну нет, зачем же вам беспокоиться... – Мязин, казалось, устыдился своей минутной слабости. – Не надо ночевать. Вы просто, голубчик, замкните меня снаружи... Вон он, замок, – на этажерке... И дело с концом.

– Вот и отлично! – обрадовался старик. – Спокойной ночи, приятных сновидений!

Полночь. Еще одна тень

Мязин потому попросил задернуть занавески, что ему показалось, будто в темном квадрате окна раза два промелькнуло чье-то лицо.

Поэтому-то он и о «Магдалине» решил заговорить с Евгением Алексеичем. Не впервые за дни болезни появлялась у него мысль о том, чтобы удалить «Магдалину» из дома – так, на всякий случай, во избежание непредвиденного.

И вот это мелькнувшее в окне лицо...

Эти странные предчувствия...

Скромный маленький складенёк черного дерева с тусклыми позолоченными инкрустациями висел в головах, над диваном. Когда-то, в незапамятные времена, он украшал один из ослепительно-роскошных покоев последнего бухарского эмира. В двадцать первом году, после свержения бухарской династии Мангытов, переместился в кожаный дорожный сундук турецкого авантюриста Энвера-паши, а в двадцать втором – в козую переметную суму главаря басмаческой шайки Мадамин-бека, которого в том же двадцать втором в жарком бою на афганской границе настигла кривая шашка молодого краскома Мязина.

Благодаря лихих конников, командир полка преподнес Афанасию черный складень, найденный в суме Мадамин-бека, и полушутя-полусерьезно сказал:

– Держи, товарищ Мязин! На память о боевых походах. Что это за хреновина – шут ее знает. Надо полагать, икона, что ли, турецкая... Ну, так ее можно и выкинуть, а ларчик – женишься, бабе подаришь... ну, под иголки там, под нитки, словом сказать, под всякую дамскую муру...

И пошел черный складень путешествовать за Афанасием по горячим пескам Средней Азии, пока не догнала краскома та заветная пуля, что долгонько-таки искала его на полях.

Отвоевался лихой рубака и на долгие-долгие годы засел в глухом таежном Кугуш-Кабане.

А складенёк черный – вот он.

Память о былых походах. О юности боевой.

Кряхтя, поднялся с дивана, крохотным ключиком отомкнул створки. В темной глубине складня мерцало давно знакомое тонкое, бескровное женское лицо. Оно как бы светилось во мраке, в котором лишь угадывались длинные волосы, ниспадающие на темную одежду, еле уловимые очертания в отчаянии заломленных над головою рук...

Магдалина.

Трогательная евангельская история кающейся грешницы, поэтичная легенда о прекрасной гетере. Вечный символ женственности, познания истины и самоотреченного служения ей.

Все это недавно открыл Афанасию московский старичок реставратор, приехавший в Кугуш-Кабан спасать бесценную роспись древнего храма. Прошлым летом месяца два работал он на острове, обновлял фрески.

Как-то раз, любопытствуя, зашел к Мязину поглядеть его коллекции. Много удивлялся, каким это образом в кугуш-кабанской глуши очутились подлинные полотна Рериха, Нестерова, Чурлениса, даже Давида Бурлюка. Но когда Афанасий распахнул перед ним створки черного складня – ахнул:

– Да знаете ли вы, что это такое? Эль Греко, батенька! Редчайший поздний Эль Греко!

Испания. Шестнадцатый век. «Кающаяся Магдалина». Никакая не турецкая богородица.

Мировой шедевр считался безнадежно исчезнувшим в частных коллекциях со второй половины прошлого века.

Старичок назвал стоимость черного складенька. Оказалось, что все, чем владел Афанасий Мязин – дом, коллекции, астрономические приборы, библиотека, – все, все не стоило и половины того, во что оценивалась эта крохотная басмаческая «Магдалина».

Старичок сфотографировал ее и уехал. Вскоре на страницах газет и журналов появились снимки с Афанасьевой «Магдалины». В Кугуш-Кабан зачастили ученые гости из Москвы, Ленинграда, даже из Праги. Весь мир узнал, чем владеет Афанасий Мязин.

Но прежде всех узнала родня. Наследники.

И вот – этот нынешний день. Шумный спор о завещании. Истошные вопли Писляка. Карканье Олимпиады. Злобные выкрики дяди Ильи. Антонида.

Ждали Афанасьевой смерти. С карандашиком, поди, уже подсчитали, на чью долю сколько придется... А он возьми да и откажи все свое богатство – кому? Городу, язви его, окаянного! Горисполкому кугуш-кабанскому!

Резкий стук в окно раздался за спиной Мязина. Он вздрогнул, машинально взглянул на часы: без десяти двенадцать. Кому бы так поздно?

«Неужто и вправду не обмануло предчувствие? – внутренне холодея, подумал Мязин. – Неужто конец? Вот такой – бесславный, глупый, омерзительный!»

Стук повторился, нагло, настойчиво.

«Давно не глядел смерти в глаза, – усмехнулся Мязин, – забыл уж, какая она...»

Превозмогая боль в сердце, морщась, слегка постанывая, подошел к окну. Решительно раздернул занавески. Сквозь черное стекло глядела чья-то чужая, незнакомая рожа. Она казалась неестественно плоской, нарисованной. Тонкие губы дергались в неприятной, искусственной улыбке.

– Не узнаешь, Афанас? – глухо послышалось из-за стекла. Рожа хитро подмигнула: «Не может быть, дескать, чтоб не узнал!»

И вдруг – в чуть хриловатом голосе, в подмигиванье, в кривой улыбочке – что-то мелькнуло, что сразу словно пыльной ветошкой смахнуло двадцативосьмилетнюю давность, и Мязин одними губами беззвучно прошептал:

– Яков!..

Тот закивал головой, засмеялся, заговорил быстро, невнятно, глухо, куда-то указывая, будто объясняя что-то.

– А! – догадался Афанасий. – Замок на двери? Ну, погоди... Сейчас...

С трудом дотянулся до верхнего шпингалета, толкнул набухшую раму. Острой, крепкой струей в комнату ворвалась ночная прохлада.

– Давай, – сказал Мязин, – через окно... Лезь!

И не успел договорить, как полуночный пришелец уже стоял перед ним.

– Ну, братан?

Он решительно привлек к себе Мязина, обнял, поцеловал.

– Какой-то чудной дух от тебя, Яша, – сказал Афанасий. – Псиной, что ли?

– Скажешь! – засмеялся Яков. – Забежал в «Тайгу», хватил коньячку маленько...

– А-а... вон что! Коньяк, стало быть...

– Ну да, ну да! А ты – «псиной»...

– Значит, живой все-таки?

Вопрос был неловок, и Мязин, почувствовав это, смутился. Но Яков небрежно пожал плечами:

– Как видишь. Трепано, конечно, за это время было – на троих хватит, а так – ничего. Нормально. А ты, я вижу, прихварываешь?

Он кивнул на тумбочку, уставленную пестрыми склянками с лекарством.

– Не говори. Помирать собрался...

– Ну, чего помирать, еще поживешь, – бодро сказал Яков. – Чернохвостницы-то живы?

– Сестры? Чего им поделается.

– Это верно. Старого лесу кочерги, – ухмыльнулся Яков. – А сынок?

– Гелий? Женат. Двое детей.

– Это ты дедушка, стало быть. Вместе живете?

– Нет, он отделился давно... Ты меня, Яша, извини, – сказал Мязин. – Устал я, прилягу...

– Давай, давай, что за вопрос! Помочь, может?

– Нет, ничего... – Мязин лег, закрыл глаза. – Ну, давай, – трудно, со вздохом произнес он, – рассказывай... Ты ведь в это время не просто так ко мне проведать зашел... Верно, что-то тебе от меня понадобилось? Денег, что ли?

– Начистоту, значит? – подмигнул Яков. – Одобряю. А как насчет закурить?

– Ну, уж если не можешь обойтись...

Яков вынул из кармана какую-то с нерусским названием пачку сигарет, пыхнул ароматным дымком.

– Кубинские, – сказал значительно. – Чуешь? Люкс табачок.

Он сладострастно причмокнул даже.

– Деньги, говоришь? Не-ет, братан, деньги мне на сегодняшний день не нужны. Денег у меня у самого до черта. Другое мне от тебя требуется.

– Ну? – не открывая глаз, спросил Мязин.

– Нужен мне, Афанас, от тебя документик. Бумажка.

– Не понимаю, – сказал Мязин.

– Сейчас поймешь. – Яков поудобнее устроился на диване в ногах у брата. – Я ведь, по правде сказать, еще днем к тебе наведывался, да тут у вас такой гам стоял...

– Родственнички навещали.

– Ага, ага! Это я уже все до точности знаю. Сестры, дядюшка и так далее.

– Видал, стало быть, сестер-то?

– Не видал, но знаю. Вся улица судачила.

– А чего ж тогда спрашиваешь, живы ли?

– Фу, боже мой! Чего, чего! – Яков даже руками всплеснул. – Для вежливости, конечно. Для родственного разговору. Цельный век не виделись, да еще и влез через окошко, – надо же приличие соблюсти: как, мол, что, и так далее...

Афанасий хмыкнул: «Ну, Яшка! Жучило!»

– Я, видишь ли, – продолжал Яков, – раза два нынче возле твоего дома прогуливался, пока они тут у тебя шумели. Думал – вот разойдутся, вот разойдутся... А к восьми – по делу надо было вот

так. Поздновато, извини, сам знаю, что хамство. Но... вопрос жизни и смерти, как говорится. Клянусь.

– А ты не тяни, – сказал Мязин, – валяй напрямки. Что тебе нужно? Какая бумажка?

– Ну, давай напрямки, – согласился Яков. – Что нужно-то? Доля, Афанас, нужна. Наследства моего, то есть, доля. Понимэ?

– Какая доля? – опешил Мязин.

– Какая, обыкновенная. Четвертая часть. По закону. Дом этот и все такое. Отцы у нас с тобой, верно, разные, но мать-то одна? Одна. Значит, я что ни на есть самый законный наследник. Согласен?

Мязин попытался приподняться.

– Лежи-лежи! – скороговоркой забормотал Яков. – Лежи, не тревожься. Ты меня не понял, братан. Мне этот дом твой, шурум-бурум всякий, ни на фикá не сдались. Повторяю: я богат. Мне, Афонька, легальность нужна. Через получение наследства родительского – чуешь? Чтоб я свои денежки тратить мог, не возбуждая, так сказать, кривых толков. Получил наследство – вот, мол, и трачу. Дошло?

– Почти, – сказал Мязин, поднимаясь. – Темный ты человек, Яшка. Какие-то деньги у тебя, легальности какой-то добиваешься... Ну, это твое дело. Мне сейчас в твои махинации вникать нет ни охоты, ни силы. Одно скажу тебе: дом этот государством мне передан в дар, ясно? Все, что в доме, мною лично приобретено. Так что ничего твоего тут нету, и никакой бумаги я тебе насчет наследства не дам. Вот так.

– Ну, братец, на это суд есть, – вспыхнул Яков. – Наш, советский. Там разберутся, что к чему.

– Знаешь что, – сказал Мязин, – уйди, пожалуйста. Устал я. Уходи.

– Слушай, Афанас! Бумажку ж ведь только прошу... Так и так, выделяю, мол, братнину часть, в чем к сему и расписуюсь. Фикция! Нет, ты понял? Фикция!

– Слушай, – необыкновенно спокойно, даже как-то по-дружески, сказал Мязин, – если ты сию минуту не уйдешь – честное слово, позвоню в милицию...

Он снял телефонную трубку.

– Ну?

Яков ушел тем же путем, что и пришел, – через окно.

Пожар

Телефон звонил резко, отрывисто.

Еще из-за двери Костя услышал его требовательный звон.

Голос был Виктора.

– Ты уже дома?

– Только ввалился.

– Ну как? Удачно?

– Не совсем.

– Ладно, после расскажешь. Я вот что – я задержусь, начальство нас собирает. Ты дай там что-нибудь Валету. В холодильнике сардельки в пакете. Только подогрей, чтоб он горло не застудил.

– Будь сделано! – под Райкина ответил Костя, кладя трубку.

Телефон был цвета кофе с молоком, самой последней модели. И вообще все в квартире Витьки Баранникова было новехоньким, наимоднейшим: холодильник, телевизор, стереофоническая радиолa, импортная мебель... Позавидуешь. В вузе все пять лет он шел середнячком, звезд с неба не хватал, и не похоже было, что когда-нибудь будет хватать, а вот тут, в Кугуш-Кабане, за какой-нибудь год выдвинулся, получил квартиру, да какую – с полным комплектом всех бытовых прелестей: газ, центральное отопление, горячая вода во все время суток... И не малогабаритку стандартную, а из таких, что только для большого начальства строят. И даже двухкомнатную, что было совсем уж непонятно при холостяцком положении Баранникова.

Костя, приехав и увидав, как обосновался на кугуш-кабанской земле его бывший сокурсник, испытал чувствительный укол зависти.

Он не мог похвастаться такими достижениями.

Хотя он и попал после окончания в тот же самый район, где проходил учебную практику и где его уже знало все районное начальство, и хотя деловых успехов за минувший год у него было не меньше, чем у Баранникова, квартиры ему до сих пор не предоставили, и даже обещания были весьма смутны и неопределенны. В Подлипках почти не строилось жилья. Благо, что по дружбе и совсем отеческому отношению его приютил в своем домишке старый милицейский работник Максим Петрович Щетинин, под началом у которого находился Костя в практикантах, а то было бы совсем худо...

Валет, черно-серый спаниель, терся о ноги, ласкаясь и одновременно заявляя о том, что он голоден. Баранников завел его для утиной охоты. Как же – самый охотничий край, какие леса, какие шикарные болота! Но охотничья страсть хозяина, как явствовало из всего, на этом приобретении и потухла, и спаниель скучал дома взаперти и одиночестве по целым дням.

Костя дал ему подогретую на газе сардельку, другую сжевал сам, поплескался под горячим дождиком душа, млея от блаженства.

Если бы у него в Подлипках был такой душ! Маленькая отдельная комнатенка, чтобы можно было без помех и никого не беспокоя читать по ночам книги, и душ! Ничего больше он не попросил бы, ничего больше ему не было бы надо – ни холодильника, ни телевизора, ни серванта с винным баром, ни баранниковского импортного дивана, который и диван, и кресло, и кровать все сразу вместе, – так уж он хитро устроен, раздвигается и перестраивается и так и этак...

Теплый, мягкий, бархатный мрак летней ночи ровно закрашивал рамы окон. Звездная россыпь светилась неярко, притушенно – как всегда, если смотреть на небо из освещенной комнаты. В детстве Костя часами подкарауливал падающие звезды. Есть поверье: если в этот миг задумать желание, оно непременно исполнится. Почему-то у него никогда не получалось: звезды срывались, падали, рассекая небосклон, а он только лишь завороченно провожал их глазами, не успевая проговорить свое желание...

На столе лежало начатое письмо. Максим Петрович просил обязательно писать. Скучно ему, старику. Всего-то и развлечений по вечерам, что заполнять кроссвордные клетки. С Марьей Федоровной у них давным-давно уже все переговорено, даже о писателе Пермьяке они больше не спорят: бог с ним, решил про себя Максим Петрович, пускай считается классиком, раз Марье Федоровне так нравится его «Медвежья свадьба»... А придет письмо – они хоть о Косте поговорят: как ему там в дальней стороне, за тридевять земель. Да и дело, что потребовало от Кости отправиться в неведомый ему доселе Кугуш-Кабан, интересуется Максима Петровича: ведь это к нему первому прибежала взволнованная гражданка Извалова, когда новый ее, приобретенный на курортах Кавказа супруг Георгий Федорович Леснянский, уважаемый мужчина пятидесяти лет, представлявший себя инженером и одиноким вдовцом, мечтающим о прочном семейном очаге, на второй же день своего пребывания в Подлипках, на родине жены, выманил у нее прикопленные ею деньжата, что-то почти девять с половиною тысяч, и скрылся в неизвестном направлении.

Время суток. Пять букв. Ну-ка! Качественное прилагательное. Шесть букв. Ладно, не буду Вас мучить: добрый вечер, дорогой Максим Петрович, мой Вам нижайший (опять шесть букв, приветственное телодвижение) поклон! А также и дорогой нашей Марье Федоровне, которая, знаю, уже корит меня за пропажу без вести, хотя прошло всего четыре дня, как я перестал коптить Ваш палаццо своим ароматичным «Беломором»...

Костя ухмыльнулся с довольным авторским чувством. Но тут же качнул головой: палаццо, пожалуй, он зря ввернул. Старик-то еще поймет, что это так называемый юмор, а вот Марья Федоровна как бы не обиделась за свой домишко, в котором все облажено их собственными руками, скромненько, но любовно, добротню, на небогатую трудовую копейку...

Вы точно в воду глядели: мест в гостинице, конечно, не нашлось. Да и сама гостиница какая-то недостроенная, действует только одно крыло, а остальная

часть в лесах и, видать, стоит так уже давно, без всякого движения. Средства, что ли, исчерпаны или в материалах нехватка – не знаю...

Витька Баранников ужасно разозлился, что я попер в гостиницу, а не прямо к нему. Он тут уже так вознесся! Зарплата у него по здешнему поясу чуть не в два раза выше, квартиру отхватил – закачаешься. А главное, что мне больше всего понравилось, это то, что в работе он вполне самостоятелен, не давит ему никто на мозги, как это обычно из-за недоверия к молодым специалистам. Так что ему тут полная творческая свобода и разворот на все триста шестьдесят градусов...

На этом письмо обрывалось. Не хватило времени его дописать, да и писать дальше было нечего: для дела Костя тогда еще и предпринять-то ничего не успел. А вот теперь он мог сообщить Максиму Петровичу кое-какую информацию.

Он присел за стол рядом с распахнутым в черноту ночи окном, щелкнул шариковой ручкой, выдвигая стерженек.

Все-таки удобная эта новая «модерная» мебель, ничего не скажешь! С его ростом и длинными ногами ему за всеми столами тесно и неловко. А тут – просто на редкость хорошо. Трехтомную эпопею можно писать...

Ну, а теперь, дорогой Максим Петрович, несколько слов о деле. Конкретного, к сожалению, пока мало. Да я и не надеялся на быстрые результаты – зацепка-то уж слишком незначительна, с самого начала сулила не бог весть что. Предстоит еще искать и искать...

Да, Леснянский, покидая эту дуреху Извалиху и отправляясь с ее тысячами якобы в Туапсе для покупки вместе приторгованного дома, был весьма предусмотрителен – конечно, опыт и предварительная тщательная обдуманность! – и не оставил после себя никаких следов, которые хоть что-то бы о нем сообщали, хоть как-то приоткрывали его личность, его прошлое и настоящее, его связи. Буквально ни пушинки, ни ворсинки с себя. Растворился – и как его не было вовсе! Этим, впрочем, он сам же и подтвердил, что он жулик матерый и что имеющиеся на учете аналогичные случаи афер с женитьбою, выманиванием денег и немедленным последующим исчезновением – это тоже проделки все того же Леснянского, каждый раз выступающего в новом обличье, под новой фамилией и с новыми фальшивыми документами.

Разумеется, своей фотокарточки у Изваловой Леснянский тоже не оставил.

– Но как же так? – удивленно спросил Костя Извалову. – Вы познакомились с ним на юге, где фотографии дежурят у каждого куста, прилипчиво навязываются со своими услугами, щелкают, даже не спрашивая согласия... А у курортников ведь это же излюбленное занятие – непрерывно сниматься! Наконец, вы поженились, а все считают для себя неременным долгом сфотографироваться в день свадьбы. Вы регистрировали брак в Туапсе?

– Да, в Туапсе... Знаете, я предлагала это ему не раз, но он говорил, что не любит фотографироваться, потому что получается плохо, непохоже. Я, право, даже не обратила на это внимания: ну не любит человек – и не любит, ничего особенного... Может, своего искусственного глаза стесняется...

Извалова принялась рыдать – в сотый, должно быть, раз за время Костиных бесед с нею. Ее грызли обида, досада, злость, что ее так артистически провели, как последнюю дуру. Года полтора назад трагически погиб ее первый муж, директор сельской школы. Костя тогда как раз практиковался в районном угрозыске и участвовал в расследовании этого загадочного дела. Нынешнее нервное потрясение, в которое вверг Извалову Георгий Федорович Леснянский, суливший ей безмятежную, райскую жизнь под сенью черноморских пальм, совсем надломило что-то в организме Изваловой, и этот надлом выразился довольно-таки странным образом: она стала стремительно лысеть. Волосы вылезали целыми пучками. В какие-нибудь десять дней Извалова облысела окончательно и вынуждена была обрядиться в парик. От парика было жарко, как от меховой шапки, но ей ничего не оставалось, как стоически терпеть. Когда она рыдала, каштанового цвета парик сползал набекрень. Костя, делая вид, что ему срочно что-то нужно в соседней комнате, поспешно выходил, чтобы не засмеяться вслух...

Одну мелочишку черноусый красавец Леснянский все-таки оставил Изваловой на память о себе: почтовую открытку, в которой кугуш-кабанское адресное бюро, видимо, в ответ на его запрос, сообщало ему адрес какой-то Елизаветы Петровны Мухаметжановой. Открытку эту Леснянский, судя по затертости бумаги и почтовым штемпелям, продолжительное время таскал в своих карманах, а затем изорвал на мелкие клочки и выбросил в мусор за нужник в том дворе, где жила Извалова. Не сразу обнаружила она эту улику, а обнаружив, немедленно, с надеждою на неминуемое теперь изловление подлого обманщика, притащила клочки Косте.

Открытка действительно давала некоторую надежду. Если Леснянский интересовался адресом некоей Елизаветы Петровны Мухаметжановой, проживающей в городе Кугуш-Кабане, на улице Жан-Жака Руссо (!), дом № 21, то, возможно, он был известен этой Мухаметжановой и следственные органы могли получить от нее полезные сведения...

У Мухаметжановой я побывал. В городе ее не оказалось, в доме я застал только сына. Зовут Валентин, 27 лет, о профессии своей сказал, что художник, но художество его вот какого рода: он состоит в штате погребальной конторы при городском кладбище, исполняет надписи на жестяных намогильных табличках и на траурных лентах к венкам. Про Леснянского он ничего не слышал. Сама Елизавета Петровна работает сейчас поварихой в пионерском лагере. Пришлось топтать двенадцать километров. Фамилия Леснянского ей тоже неизвестна, и зачем она ему понадобилась – она не имеет понятия. Я ей обрисовал внешность Леснянского, как описывала нам Извалова, и все его данные: что он будто бы инженер, манеры вполне интеллигентного человека, работал много лет где-то в Сибири, на рудниках, по документам ему пятьдесят один год, роста чуть выше среднего, худощав, но большой физической силы, кожа смуглая, волосы с проседью, ежиком, коротенькие усы, нос с легкой горбинкой, глаза карие... Подчеркнул, что только один глаз у него собственный, а другой – искусственный, фарфоровый, и под левым ухом небольшой шрам (Изваловой, если помните, он говорил, что когда-то на охоте налетел на сук, оторвал пол-уха, но ему пришили). Елизавета Петровна старательно вспоминала, видела ли когда-нибудь она такого человека, но ничего не припомнила. Женщина она простая, замороченная житейскими заботами. Хотя фамилия у нее восточная, сама она чистокровная русачка, это муж у нее был первый Мухаметжанов, отец Валентина. Рассказала, что человек он был непутевый, запивоха, на службах не держался, менял места одно за другим. Служа на товарной станции списчиком вагонов, принял участие в какой-то махинации, попался, в тридцать девятом году его арестовали, осудили на три года, и больше она его не видела и о нем не слыхала. Тут у меня мелькнула одна странная мысль, «фантазия», как Вы в таких случаях выражаетесь. Я даже не знаю, почему именно пришла она в голову. Я попросил Елизавету Петровну подробно описать портрет ее пропавшего двадцать восемь лет тому назад мужа – его звали Яков Ибрагимович. И показать фотокарточку. Про карточку она сказала, что была одна, да давно уже куда-то делась. Наверно, второй муж нарочно уничтожил. Она с ним нерегистрированная живет с сорок шестого года. А по внешности Мухаметжанов был черноватый, шустрый, роста ни крупного, ни малого, глаза – она и не помнит уже, какие глаза у него были. Вроде тоже черные. Но оба глаза были целые и шрамов на нем никаких не имелось. Тянул я из нее, тянул подробности – даже в пот бросило. Сами знаете, какой это мучительный труд, когда спрашиваешь, а собеседник совершенно бесталанен в словесном искусстве и все за давностью перезабыл. Если даже и копошится что в черепной коробке, так и то в слова переложить не умеет, хоть режь его, хоть жги. Короче, ничего определенно не прояснилось. Но мысль эта, мелькнувшая у меня, осталась и почему-то сидит упорно. Глаз Мухаметжанов мог, конечно, и после потерять, как и приобрести шрам. Если Леснянский – это бывший Мухаметжанов, то тогда его в городе многие должны знать. Он ведь только наполовину татарин, а мать у него была русская, Мязина, бывшая по первому замужеству за Трифоном Мязиным, местным лесопромышленником. Когда Мязин этот помер (под поезд он попал, возвращаясь с Нижегородской ярмарки, в девятьсот пятнадцатом, что ли, году), она нажила себе еще одного сына, от татарина, который у Мязиных на лесопилке приказчиком служил. Это все из рассказов той же Елизаветы Петровны. Если, повторяю, Леснянский – это и есть тот сын от приказчика-

татарина и первый муж Елизаветы Петровны, то, стало быть, ему в городе в той или иной форме родня все, кто относится к роду Трифона Мязина.

А их в живых еще порядочно. Один из этих Мязиных – Афанасий Трифонович, человек крайне интересной и своеобразной судьбы. Он старший сын лесозаводчика и по рождению принадлежит, так сказать, к классу капиталистов и эксплуататоров трудового народа. Но пошел совсем иным, чем его родичи, путем: герой гражданской войны, удостоился орденов Красного Знамени. За революционные заслуги ему вернули отцовский дом, конфискованный в первые годы Советской власти. Живет он в нем один: жена умерла уже давно, сын тоже давно отделился (своя семья, преподает в местном техникуме, торговом, кажется). А Мязин Афанасий Трифонович не только своим прошлым знаменит, он сделался ученым и сейчас, так сказать, здешняя достопримечательность: астроном, изобретатель, придумал какой-то необыкновенный ветродвигатель и построил его в своем саду, написал книгу, в которой предлагает ловить в океанах айсберги, транспортировать их к африканским берегам, растапливать и орошать пустыни. Айсберги, оказывается, колоссальные кладовые пресной воды, а пропадает она зря. Про эти проекты Мязина Витька Баранников мне в первый же день два часа в уши жужжал, – они и верно необычайны и интересны. Кроме того, Афанасий Трифонович в течение тридцати лет собирал книги и собрал огромную библиотеку, а также редкостную коллекцию картин, на которые зарятся и Третьяковка, и Пушкинский музей, и ленинградский Эрмитаж. Но это все к слову. Вернусь теперь к главному, что нас интересует: этому Мязину Мухаметжанов доводится братом по матери...

Спаниель, поскуливая, беспокойно метался по комнате. Подбегая к окну, он подпрыгивал, вставал на задние лапы, передними упираясь в подоконник.

Костя оторвался от письма. За окном, над купами деревьев и городскими крышами, дрожало вишнево-красное зарево...

День второй

Не просто пожар

– Нет, это не просто пожар!

Баранников, с куском хлеба в одной руке, бутылкою молока в другой, жуя и прихлебывая, в возбуждении почти бегал по комнате. Его серый костюм и остроносые желтые полуботинки были попачканы сажей, пятна сажи чернели и на щеках, и на лбу.

Нежный, перламутровый свет утра вливался в окна.

– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифонович Мязин...

– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.

– Мязин, изобретатель...

– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.

– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму. Труп обгорел настолько, что уже не определить, было ли насилие. Но все равно и так совершенно ясно, что это не несчастный случай, а преступление!

– Но почему ты так уверенно считаешь?

– А потому, что я не только в золе рылся... Суди сам. Сосед Мязина машинист водокачки Келелейкин направлялся в первом часу ночи на дежурство и видел, как кто-то в это время отходил от дома Мязина. Ему даже показалось, что человек этот будто бы вылез из окна, потому что был такой звук, точно заскрипела и хлопнула оконная рама...

– Он его пытался задержать?

– Струсил. Не храброго десятка. Но к дому Мязина он все же подошел. Внутри было тихо, окно закрыто на шпингалеты. Келелейкин успокоился, решил, что все ему померещилось.

– А когда возник пожар?

– Неизвестно. Пламя увидели примерно через час после этого. Прохожие. Они же и подняли тревогу. Суди теперь дальше: почти рядом с телом Мязина обнаружен булыжник!

– А, вот это улика! Но...

– Нет, Мязин минералы не коллекционировал. Если бы еще редкость какая, а то самый обыкновенный булыжник, каким дороги мостят. Пять кило весу.

– Ты думаешь, Мязина ударили этим камнем?

– Я тебе уже сказал – явных следов насилия нет. Но эксперты будут еще раз исследовать труп.

– Где же его нашли, в каком месте?

– В комнате, где Мязин обычно спал. С окнами на улицу и в сад. Лежал на полу, между диваном и окном, тем самым, из которого, по словам Келелейкина, вылез человек. Возможно, он поднялся с дивана, разбуженный шумом, когда убийца влезал в окно. Возможно, он не был убит сразу и пытался добраться до окна, чтобы позвать на помощь людей. Но тут возникает вопрос: почему были закрыты шпингалеты? Правда, это утверждает Келелейкин. Он мог и ошибиться: потянул за раму, да не сильно. Вообще, много загадочных обстоятельств. Входная дверь, например, была заперта снаружи на всякий замок!

– Вот как! Это действительно странно...

Баранников в несколько крупных глотков допил молоко, кинул остатки булки Валету и в том же своем быстром возбужденном темпе юркнул в ванную – смывать с себя грязь и сажу. Он был не только взволнован происшествием, что само по себе выглядело вполне нормально, но еще и как-то весело, довольно настроен, что случилась такая громкая история – с убийством, поджогом, загадочными обстоятельствами, история, о которой не может не мечтать, обязательно мечтает каждый молодой следователь, и что он будет распутывать эту историю, и она, конечно, принесет ему новый успех и новую славу.

– Так все-таки – вылезал кто-то из окошка или не вылезал? – спросил Костя в задумчивости, все еще ошеломленный услышанным известием.

– А черт его знает! – отозвался из ванной под плеск воды Баранников. – Попробуй теперь найди какие-либо следы. Рамы уличных окон выгорели, даже стена эта рухнула...

– Но цель? Какая могла быть цель? Ради чего все это?

– О, причин более чем достаточно! – оживленно сказал Баранников, появляясь из ванной с мокрым розовым лицом и полотенцем в руках. – Во-первых – «Магдалина»...

– Это та картина Эль Греко, что ты рассказывал?

– Та самая. Знаешь, сколько Эрмитаж предлагал за нее Мязину?

– Кого же могла она соблазнить – здесь, в этом захолустье?

– Не говори... Похититель мог явиться издалека. Да даже и здесь, в захолустье. Хотя бы того же Мировицкого...

– Это кто?

– Поп бывший, расстрига. Он у Мязина вроде в секретарях состоял. Помогал ему в делах и вообще сподвижничал. Тоже краевед-любитель. Давний его друг.

– Вот видишь – друг!

– Друг-то друг, да деньги какие! Он, правда, на пожарище бегом прибежал и тут же весьма натурально хлопнулся в обморок... Да ведь это не трудно и разыграть! Возможность такую я допускаю вполне: Мировицкий похитил «Магдалину», оставил в одной из комнат огонь, чтобы пожар распространился не сразу, а среди ночи, когда старик заснет, и, уходя, запер дом, чтобы Мязин не выскочил и, таким образом, не открылось воровство...

– Как-то это слишком уж сложно и... невероятно!

– Да ведь они, эти коллекционеры, – фанатики! Психопаты! Шизоиды! Ты разве не знаешь? Ради того, чтобы обладать какой-нибудь редкостной спичечной этикеткой, иной такой шизоид готов целый город спалить! Вместе со всем населением!

– А камень?

– Что – камень? Мог для верности еще и камнем пристукнуть! Ты погляди на этого Мировицкого: Мязину ровесник, а мальчик – во! – Баранников взмахнул рукой к потолку. – Сила – бычьья! Ему чугунный двухпудовик – что яблоко!

– Как же он этот булыжник принес? В кармане?

– Ну, это уже деталь... О-хо-хо! – зашпешил Баранников, взглянув на часы. – Уже без двадцати восемь, а я на восемь допросы назначил. На правеш в таких случаях надо тащить без промедления, пока никто не опомнился...

– Погоди, успеешь... Ну, дальше!

– А дальше – наследники! Сын, как я выяснил, года два назад от наследства отказался. Из-за неладов с отцом, чтобы ему этим своим отказом досадить и свое благородство и бескорыстие продемонстрировать. Поскольку сын устранился, наследниками по закону становились сестры Мязина Олимпиада и Антонида. Старухи, надо сказать, препротивные. На пожарище тоже примчались. В голос выли. Артистки!

– Так если закон определял наследство им...

– А в том-то и дело, что не им выходило! Мязин не хотел им оставлять. Всю жизнь они с ним враждовали. Он их терпеть не мог. Да и знал он – попади им в руки его добро, они враз все на распыл пустят. В прах пойдут его труды. Поэтому он составил завещание, чтобы и дом. и библиотека, и коллекции перешли городу как дар от него, стали бы частью местного музея...

– Оно было уже нотариально оформлено?

– Как раз сегодня он собирался это сделать.

– Вот как!

– Ты понимаешь, – выразительно сомкнул Баранников ладони, – какой для претендентов момент – сегодняшняя ночь! Да уж одно это доказывает, что мы имеем дело с преступлением заинтересованных лиц.

– Еще бы! Если убрать Мязина, уничтожить завещание, не получившее юридической силы...

– ...то ввод в наследство совершился бы, как определяет закон. Сын отказался официально, по закону это бесповоротно, значит, все перешло бы к сестрам.

– Но, позволь, зачем тогда поджигать?

– А это не предполагалось. Пожар мог возникнуть случайно. От спички, которой светили, забравшись в дом. От забытой свечи. От окурка. Да мало ли еще от чего. Может, потому старухи и выли так голосисто, что этот случайный, незапланированный пожар отнимал у них всё, на что они рассчитывали.

– Все-таки как-то не связывается... – с сомнением, размышляя, произнес Костя. – Для чего же, в таком случае, запирают снаружи дверь?

– Что ты меня терзаешь? Ты же видишь, что я оперирую только предположениями! А знаю я пока еще вот сколько! – показал он половину пальца. – Начну допросы, дело обрисуеться – вот тогда я тебе дам полное интервью...

– Ты сказал – причин более чем достаточно.

– Совершенно верно. Мязин по своей принципиальности в духе первых лет революции однажды подпортил своему сыну карьеру, причем основательно, так что тот на него здорово озлился. Последнее время, говорят, они даже не виделись и не разговаривали. Но Мязин будто бы знал еще о каких-то неблагоприятных делишках сына, и того это изрядно беспокоило... Теперь ты согласен, что мотивов действительно хватает?

– Вижу, – сказал Костя.

– Намечаются уже по крайней мере три вполне серьезные версионные линии. Одна, – провел Баранников в воздухе пальцем, – это «Магдалина»... А может быть, и похищение какого-нибудь проекта, рукописи. Вторая – жажда наследства, не отдать его в руки государства. Третья – месть или желание заставить молчать. При первом и третьем вариантах поджог вполне уместен. Даже необходим – чтобы скрыть следы и направить розыск в ложную сторону. Должен, однако, признать, что версия с «Магдалиной» представляется мне наименее вероятной. Что похитителю с этой «Магдалиной» делать? Не понесет же он ее в Эрмитаж? Только для личного обладания? А может быть, – запнувшись, в догадке, самому себе проговорил Баранников, – чтобы переправить за границу? А что? Сейчас ведь какая идет охота за нашими картинами, иконами, старинной утварью...

– Я тоже тебе еще одну версийку подброшу, проведи еще одну линию, четвертую... – сказал Костя спокойно, сдерживая внутреннее волнение. – Не исключено, что в город возвратился Мухаметжанов...

– Кто-кто? – сузил глаза Баранников, соображая. – Мухаметжанов?

– Брат Мязина. Который пропал еще до войны.

Голубоватые глаза Баранникова теперь расширились, выкатились, сделались совершенно стальными, пронзительными. Раньше Костя не замечал у него такого взгляда. Вот в чем, наверное, его главная сила! Нелегко, должно быть, бывает на допросах у Баранникова, когда он вот так выкатывает свои стальные, холодные, безжалостные глаза...

– Ты это знаешь точно?

Ответить Костя не успел: оглушительно залаял Валет. В прихожей кто-то топтался. Баранников, видно, не прихлопнул как следует входную дверь.

– Кто там? – крикнул Баранников. – Ты, Ерыкалов? Валет, назад!

На пороге комнаты, как-то неловко, неуклюже подвигаясь, показался рослый, громоздкого телосложения старик в мешковатом парусиновом пиджаке, смешной, нелепой панамке, слишком малой для его крупной, кудлатой головы.

– Товарищ Баранников, вы уж меня простите... – пробормотал старик, не решаясь окончательно войти в комнату. – Вы мне назначили в прокуратуру... Но я не смог ждать, не утерпел... Вы уж простите, что я прямо в дом...

Губы у старика подрагивали, и все его мясистое крупное лицо подрагивало, дергалось.

– Я пришел вам сказать...

Он задохнулся, поднес руку к горлу и вдруг тяжело, грузно, так что в серванте зазвенела посуда, упал посреди комнаты на колени.

– Арестуйте меня! Я вас прошу... Я должен понести наказание!..

Арестуйте меня!

– Встаньте! – крикнул Баранников. Он заметно растерялся – так неожиданно было падение посетителя на колени. – Встаньте, Евгений Алексеич!

Он бросился к старику, подхватил его и силою заставил подняться.

– Костя, стул! И воды, скорей!

На бегу натягивая брюки, Костя кинулся на кухню.

– Вы присядьте... вот так... – суетился Баранников. – Вот водица, выпейте... Не надо так волноваться, совсем не надо...

Виктор явно трусил – как бы старик снова не растянулся в обмороке, как на пожарище. Изволь тогда хлопотать – вызывать врачей, приводить в чувство... А вдруг да совсем очокурится?

Но старик отхлебнул из кружки воды, и мало-помалу ему стало лучше.

– Посидите, посидите, успокойтесь! – жестом остановил его Баранников, заметив, что Евгений Алексеич намеревается заговорить. – Может, еще водички? Или хотите папиросу? Папироса тоже успокаивает...

Мировицкий отрицательно качнул головой.

– Тогда с вашего разрешения закурю я, – сказал Баранников, беря со стола из Костиной пачки сигарету. – Вы меня, признаться, прямо-таки испугали... Ну, разве можно так? Вы ведь и ушибиться могли... Ах, вот беда, спичек-то нет! – с выражением досады хлопнул Баранников себя по карманам. – Все пожгли. Мой товарищ такой дымокур – не напасешься! Нет ли у вас с собою огонечка?

– Не сумею вам услужить, – слегка развел руками Мировицкий. То, что говорил Баранников, доходило до него явно туго, в половину смысла. – Не курю и спичек при себе не ношу...

– Ах, жалко, жалко! – вполне натурально огорчился Баранников. – А вы это хорошо делаете, что не курите. Курить, как говорится, здоровью вредить... Табак разрушает нервную систему...

– Товарищ Баранников... – не слушая, в сосредоточенности на своих мыслях, проговорил Мировицкий. Губы его снова дергались, кривились.

Баранников на полуслове оборвал свою бойкую скороговорочку, присел на стул против старика и с напряженной серьезностью, выжидательно воззрился в испещренное морщинами и фиолетовыми жилочками его лицо.

– ...не знаю, понимаете ли вы в полной мере, что сотворил этот ужасный случай... кого мы утратили в Афанасии Трифоновиче... Боже мой! – воскликнул Мировицкий со стоном. – Да если бы вправду существовала всевышняя воля и воля эта сказала мне – отдай свою жизнь, только чтобы продлились его дни, – вот вам мое искреннее слово: не стал бы колебаться ни мгновения!..

– А вы, простите, давно дружны с Афанасием Трифоновичем? – как бы между прочим, из одного лишь простого любопытства, спросил Баранников.

– С двадцатых годов еще... Ведь он-то мне и направление всей жизни перевернул! Кем я был – смешно вспомнить! А знаете, на чем мы сошлись? Однажды он мне древние тексты принес, с церковнославянскими титлами. Вы, говорит, семинарию кончали – поясните-ка! Так наше общение и началось... Господи! – вздохнул он тяжело. – Подумать только: вчера еще мы с ним об этом нашем первом знакомстве вспоминали, к разговору пришлось... Товарищ Баранников! – устремил Мировицкий на Виктора взгляд, полный почти безумной тоски. – Это трудно понять, мало кто бывал в таком положении... Но вы должны понять, с чем я к вам пришел, что у меня вот здесь, – коснулся он рукою груди, – Ведь я себя форменным убийцею почитаю!

– Как же это понимать – форменным? Не наговариваете ли вы на себя, Евгений Алексеич? – с дружеской мягкостью спросил Баранников.

– Помилуйте, какой наговор! Ведь это же я во всем виноват – я Афанасия Трифоновича на замок-то запер!

Баранников сначала качнулся назад, затем тут же рывочком подвинулся на самый кончик стула, почти вплотную к Мировицкому.

Наступило недолгое оцепенение.

В позе Баранникова было что-то от стойки охотничьей собаки.

Костя даже подивился про себя: неужели это Виктор, тот самый флегматик, что всегда сидел на лекциях с рассеянным видом или почтывая потихоньку «Советский спорт», нередко хватал на экзаменах тройки, не слишком из-за этого огорчаясь, и более или менее ощутимо волновался только по поводу того, выйдет ли киевское «Динамо» в финал сезонного розыгрыша или киевлян обгонит какая-нибудь соперничающая команда...

– Зачем же вы заперли? – спросил Баранников без дыхания, сдавленным голосом, весь так и приготовленный услышать окончательное признание.

– Так мне Афанасий Трифоныч сам повелел. Слабость он вчерашним вечером чувствовал, невмочь ему было идти запирать за мною дверь. Вот он и приказал – навесить замочек на петли снаружи... Ну кто ж мог предполагать! Ах, боже мой, боже мой! Если бы у меня хоть какое предчувствие шевельнулось! Своею рукою обрел! По глупости, по легкомыслию своему... А не сделай я глупости этой, он бы, пожалуй, хоть сам-то спасся...

Слезы обильно покатались из глаз Мировицкого, закапали на измятый, давно уже требовавший стирки парусиновый пиджак.

– В каком же часу уходили вы от Афанасия Трифоныча?

Внешне Баранников, казалось, вполне поверил Мировицкому и вполне удовлетворился его объяснением.

– Поздненько. Что-то уже около полуночи. А как до жилища своего дотащился, как раз полночь и сравнялась...

– Неужто Афанасий Трифоныч так расхворался, что даже дверь запереть стало ему не по силам? Вроде бы ведь самочувствие его было не таким уж плохим...

– Старые недуги возродились. Сердчишко ослабло. В таком возрасте так: сегодня жив, а завтра на погост провожают... А вчерашним днем ему еще досталось баталию с родственниками держать, совсем она его подкосила.

– Слышал, слышал про это... Один из его родичей – Илья Николаич Мязин – с вами вместе проживает?

– Ну, не так чтоб уж вместе... Просто у одного и того же хозяина квартируем... Я комнатку в девять квадратных метров в верхней половине дома снимаю, а Илья Николаич в подвальной части помещается, с хозяевами. Угол ему там сдан, угловой жилец – по-старому сказать...

– Вы с ним часто общаетесь?

– Знакомство наше поверхностное. В Илье Николаиче... как бы это выразиться... мало есть такого, что могло бы к нему располагать...

– Значит, – сказал Баранников, собирая на лбу складки, – вы ушли от Мязина близ полуночи. Так? Дом был заперт вами на замок, ключ вы унесли с собою и войти внутрь, таким образом, уже никто не мог. Как вы полагаете – отчего же возник пожар?

– Теряюсь в догадках и не могу понять... Афанасий Трифоныч всегда был так осторожен... Дом деревянный, полон книг... холсты... По этой причине он изгнал из комнат все опасное в пожарном смысле: керосин, свечи, электронагревательные приборы... Он даже курить посетителям, как правило, запрещал, все из той же предосторожности – как бы не заронили искру... Уж он-то понимал, случись что – преогромная выйдет беда. Непоправимая!

– Что и говорить! – в тон Мировицкому согласился Баранников. Он так уже подлачился под старика, так звучали его реплики, что теперь, казалось со стороны, он просто беседовал с ним, без всякой скрытой мысли. – Представляю, в какую сумму оценивалась одна только его библиотека! А еще картины! «Магдалина»! Скажите, это правда, что ее собирались купить для Эрмитажа и уже вели с Афанасием Трифонычем переговоры?

– Ах, товарищ Баранников! – простонал Мировицкий, как от сильной боли, прикрывая глаза ладонью. – При чем тут денежная стоимость! Да разве можно это в деньгах оценить? Можно ли означить в рублях и копейках ценность идеи, например? А сколько богатейших, уникальных идей находилось в проектах, в рукописях Афанасия Трифоныча! Вот вы упомянули «Магдалину»... Может быть, многие миллионы людей еще прошли бы с благоговением перед этим чудом... В каких цифрах можно измерить воздействие великого искусства на человеческие души? Казню себя беспощадно и буду казнить до конца дней своих, что не внял вчера просьбе Афанасия Трифоныча побережь это сокровище у себя... А он так настойчиво предлагал! Будто в точности знал, что не пережить ему ночь. Предчувствия у него были...

– Говорите – знал? Предчувствия, говорите? – насторожился Баранников, сдвигаясь уже совсем на кончик стула. В волнении он машинально погладил голову, от движения руки на его макушке растрепался и встопорчился светлый хохолок – как бы наружный знак крайней озабоченности словами Мировицкого. – Чем же были вызваны эти его предчувствия?

– Не смогу вам объяснить, со мною он не поделился. А я, мелкомысленный олух, отнес их за счет болезненного его состояния. Даже посмеяться позволил над ними...

– А скажите-ка, дорогой Евгений Алексеич, – мягко перебивая, спросил Баранников, и притом так, как будто бы о не особенно важном, просто потому, что вдруг случайно пришло в голову. – Конечно, вся обстановка в доме Мязина известна вам до мелочей... Почему в его комнате оказался вот таких вот размеров камень?

– Камень?

– Да-да, вот такой, – изобразил еще раз руками Баранников. – Может, это экспонат какой-нибудь из коллекций Афанасия Трифоновича?

– Не припомню... – проговорил недоуменно Мировицкий. – В комнате, где он спал, не было никаких камней... Нет, не было! – сказал он уже совсем твердо.

– Может, вы запомнили? Может, камень этот совсем недавно появился? Может, вы его просто не замечали?

– Как бы я мог его не заметить? У Афанасия Трифоновича я каждый день бывал, случалось – по несколько раз даже...

– Значит, вы определенно утверждаете, что никакого камня в комнате Мязина не хранилось?

– Да-с, со всею определенностью...

Баранников задумался.

– Вы все-таки загляните ко мне на службу, я вам покажу этот камень. Может статься, он вам что и напомним.

Мировицкий ответил слабым кивком.

– А это самое... – Баранников, не желая называть словами, покрутил в воздухе кистью руки. – Ну, с чем вы пришли... Я понимаю, вас это мучит... Но вы же ведь не пророк, чтобы видеть события наперед? Как можно себя за это винить?

Мировицкий молчал, тяжело опустив крупную, в седых патлах голову. Панамка его, свалившаяся, когда он грохнулся на колени, лежала на полу, возле его ног в дешевых, сильно поношенных, покривившихся брезентовых полуботинках, зашнурованных, как заметил Костя, не тесьмою, а обыкновенной упаковочной бечевой.

Выпроводив старика, сунув ему в руку забытую им панамку, Баранников чуть не бегом возвратился в комнату. Энергия и нетерпение в нем бушевали.

– Ну, великий аналитик, любитель психологических изысканий, твоя точка зрения?

Костя затягивался сигаретным дымком. Он истомился, дожидаясь этого момента. Дернуло же Баранникова устроить дурацкий эксперимент и связать его заявлением, что в доме сожгли все спички!

– Ох и дорого бы я дал, только бы узнать, что же все-таки произошло с «Магдалиной»! – уже не думая о вопросе, брошенном Косте, кружа по комнате, воскликнул Баранников. – Сгорела она или лежит сейчас преспокойно в каком-нибудь укромном местечке?

– Если подходить только психологически, то я ответил бы так, – произнес Костя, тоже больше для самого себя, чем для Баранникова, поудобнее располагаясь с сигаретой на диване. Кто-то из знаменитых детективов утверждал, что разгадывать тайны не так уж трудно, для этого надо только поудобнее усестись и хорошенько подумать. – Допустим, что виновник происшествия – именно этот чудной старикан... Хотя, должен сказать, искренность его меня тронула... Ну, ладно, все же – допустим. Тогда, во-первых, для него не представляло никакой выгоды утверждать, что в доме Мязина не хранилось ничего воспламеняющегося. Выгоднее было бы сказать наоборот, чтобы объяснить пожар неосторожностью самого Мязина. Или свалить на посетителей... А то он ведь вот что даже подчеркнул: Мязин курить в доме не позволял! Во-вторых, насчет этого камня... Если притащил его он как орудие убийства, опять-таки прямая выгода для него была сказать, что камень и прежде находился в доме. Как образец какой-нибудь породы... Проверить-то уже невозможно, что было в коллекциях Мязина, чего не было... Далее, самое серьезное: зачем ему

было признаваться, что дверь на замок запирали именно он, что он оказался последним, кто был вчера у Мязина, и, таким образом, сосредоточить подозрения на себе?

– Все это я уже подумал, – перебил Баранников нетерпеливо, вытряхивая из кастрюльки в глиняную миску Валета холодную картошку и добавляя туда куски хлеба со стола. – Но вот что я тебе скажу. То, что ты говоришь, было бы справедливо, если исходить из элементарной, типовой психологии преступника. А если Мировицкий поумнее, похитрее, чем ты думаешь? Если он сам в психологии дока и просто актерничал тут? Замышляя это дело, он ведь заранее знал, что подозрения на него будут очень сильны, в первую очередь на него упадут – уже по одному тому, что он самое близкое к Мязину лицо, что в доме ему все было доступно и открыто. А вдруг он решил так: вывернуться трудно, ну-ка устройю я казуистику! Поставлю в тупик именно тем, что не по той себе логике поведу, какую от меня ожидают! Доказательств прямых, фактических против меня не сохранится, огонь их все сожрет, из рассуждений только будут исходить... И следовательно на такую удочку и клюнет: ага, поступает не по типовой психологии преступника – значит, не преступник! Что, ведь может так быть? Фу, черт, времени-то уже сколько!

Баранников поспешно облачился в пиджак, выправил из-под края рукавов на должную длину твердые манжеты нейлоновой рубашки.

– Нет-нет, дорогой, уважаемый Константин Андреич, поверь мне, представления твои упрощенные, – сказал он, приостанавливаясь у самой двери. – А я уже с такими казуистами сталкивался! Мировицкого одно только может вполне обелить – вот если бы нашлись доказательства, что «Магдалина» сгорела!..

Последний из могикан

Когда случалось какое-нибудь крупное несчастье и Косте по роду профессии приходилось прикоснуться к нему вплотную, своими чувствами измерить его трагичность, его всегда удивляло, что, как бы ни потрясающе было случившееся, как бы ни велико было горе затронутых несчастьем людей, – рядом продолжала идти своим обычным путем обычная жизнь, идти так, будто бы вовсе ничего не произошло ни в этом городе, ни на этой улице. Ему всегда было странно видеть, что люди так же спешат по своим делам, как спешили они вчера, так же поглощены своими привычными житейскими заботами, так же торгуются на рынке возле картошки, творога и яиц, стоят в очереди перед кассами кино, толкуют, встретившись, о каких-то пустяках, смеются, радуются каким-то своим радостям.

С таким вот всегдашним чувством удивления шел Костя по утреннему городу, ощущая как некую странность, что улицы выглядят без всяких перемен, что, как и вчера, нещадно газуя дизелями, проносятся по своим маршрутам битком набитые городские автобусы, что спешащие на работу кугуш-кабанские жители так же покупают у киоскеров газеты и, разворачивая, так же впиваются в них на ходу, ища свежие новости с футбольных полей, что, как и каждое утро, выпечен хлеб и возчики, привычно поругиваясь, выгружают его из фургонов около хлебных магазинов и ларьков, так же взапуски стрекочут машинки за окнами швейного комбината, а на перилах моста через мутную, в плывущей щепе речку Кугушу сидят мальчишки-рыболовы, оцепенело уставившись на самодельные пробковые поплавки, и весь мир сейчас для них ничто в сравнении с серебряной плотвичкой, трепещущей на конце сатурновой лесы...

Кугуш-Кабан не отличался размерами. Как все городки, возникшие на неудобьях, теснимые со всех сторон таежным лесом, болотистыми топями, он был построен плотно, со скупой, экономною тратой земли на ширину улиц и проулков. Бревенчатые, в основном, домишки заметно уже обветшали, город выглядел захиревшим, обойденным прогрессом, тем более, что обычно наличие промышленности задает всему тон, а в Кугуш-Кабане никакой значительной промышленности не наличествовало. Так, две-три фабрички: швейная, спичечная, по выделке лаков и красок, два-три заводика: лесопильный с цехами мебельным и бондарным, конечно – спирто-водочный... Еще с полдесятка разных артелей коптили кугуш-кабанское небо из своих тонких железных труб...

Деятельные местные власти не хотели, однако, мириться с тем, что город выглядит захолустно, и предпринимали упорные усилия подвинуть его по пути прогресса и совершенствования. На главной улице высился голый железобетонный скелет недостроенного универмага, напротив – такой же скелет Дворца пионеров, а многие улицы зияли траншеями газопровода, строительство которого тянулось уже три года и все не могло завершиться.

Усадьба Мязина находилась в заречной части. Не спрашивая прохожих о дороге, Костя сам нашел ее по запаху гари, разносимой ветром, по вышке ветродвигателя, торчавшего над крышами.

Он выглядел, как боевая машина марсиан: три тонкие железные опоры, а наверху – кабинка с механизмами и широкими мельничными крыльями для улавливания ветра. Раньше Костя видел его вращающимся, но сейчас он был или выключен или в нем что-то испортилось при тушении бушевавшего у самого его подножия пожара. Он только лишь слегка поскрипывал неподвижными лопастями, мрачно чернея железным, облизанным огнем остовом. Печальный, унылый, скорбный скрип заставлял подумывать о том, как дорого было Мязину это его детище, а теперь вот у него уже нет хозяина, оно осиротело, никому не нужно и, вероятно, пойдет на слом, приравненное к бесполезному утильсырью...

В переулке еще стояли красные громоздкие пожарные автомобили. Усталые пожарники в грязных брезентовых спецовках, в зеленых фронтовых касках, шагая по лужам, скатывали мокрые шланги. Кучка глазующих, обсуждающих событие горожан стояла на тротуаре напротив пожарища. Два-три дежурных милиционера прохаживались в переулке, следя, чтобы никто из посторонних не приближался к усадьбе Мязина, на юридическом языке именовавшейся «местом происшествия».

Старшим над дежурными был лейтенант Мрыхин из уголовного розыска.

– Поглядеть? – спросил он Костю, здороваясь. – Опоздали. Ночью надо было. Тут такой «фантомас» творился – ни в каком кино не увидишь!

Со смешочками, сам же первый прыская, – Мрыхин был из тех людей, что всё происходящее рассматривают прежде всего как повод поострословить, – Мрыхин рассказал несколько эпизодов ночного «фантомаса»; один из пожарных залез на ветродвигатель и поливал оттуда горящий дом, но ветер понес пламя на него, и тогда другие пожарники бросили гасить дом и стали поливать своего товарища, и он не сгорел, но едва не захлебнулся до смерти. Жители соседних домов, боясь, что пламя перекинется, вытаскивали на улицу барахло, а одна бабка на задах мязинской усадьбы ничего не тащила, а спокойно стояла возле своей избенки с пузырьком святой воды в руках, в несокрушимой уверенности, что пузырек поможет ей оборониться...

По рассказам Баранникова Костя ожидал, что на месте мязинского дома он увидит одни головешки. Но дом был слишком большой, чтобы сгореть весь, без остатка. Половина его все-таки уцелела – черная, страшная, изуродованная баграми и топорами пожарников, в азарте борьбы с огнем разворотивших всю крышу, бельведер, скинувших на землю стропила. Пожарники также выломали окна и большой кусок задней стены, чтобы выкинуть наружу, в сад, тлеющие книги и обстановку. Полностью же выгорели веранда и сенцы в левой части дома и комнаты, обращенные на улицу. В огне погибло всё, что их наполняло, всё убранство, все вещи. Заставляя вспомнить газетные фотографии времен войны, высилась только грузная русская печь, точно в безмолвном крике отверзшая широкий черный зев...

Костя постоял на мокром хрустом шлаке, там, где находилась жилая комната Мязина. Из-под угля, битой закопченной штукатурки торчали пружины сгоревшего дивана, медная слегка оплавленная дверная ручка, железная кружка, покрытая сине-бурой окалиной, пузырьки аптечной формы. Двое сотрудников криминалистической лаборатории, пожилые, молчаливо-сосредоточенные люди, сидя на корточках, черными от угольной грязи руками перебирали горелый мусор, кое-что помещая в уже собранные кучки.

Занятые своей работой, они не спросили Костю, зачем, с какой целью он тут. Но если бы кто-нибудь его спросил, наверное, он затруднился бы назвать ясную, определенную причину. Она была и в простом человеческом любопытстве, и в заинтересованности Мязиным, которого он не успел увидеть и узнать, и в причастности к расследованию, поскольку Виктор Баранников выложил ему все обстоятельства и втянул его в их разгадку. Главное же – в чувстве, что ночное происшествие и дело, которым он занимается, имеют где-то какие-то точки схода... Этот

таинственный человек, вылезавший в полночь из окна... Кто он? Баранников, конечно, вправе подозревать многих – и Мировицкого, и родственников, но только человек, лазивший в полночь в окно, мог бы дать самый нужный, все разъясняющий ответ... Если он был, конечно, этот человек. Если он не выдумка Келелейкина.

В развалинах дома еще трудились несколько пожарников, что-то доламывая топорами в пустых, зачерненных копотью комнатах, отдирая доски пола, плеща водою из ведер. Едкий запах гари, дыма спирал дыхание, гнал из глаз слезы.

Молоденький перепачканный милиционер складывал в саду возле обломанных, в пожухлой листве яблонь мокрые, растрепанные, обгорелые книги. Тут же в беспорядке громоздилась кое-какая мебель: несколько старинных кресел, стулья, шкафы с полуоторванными дверцами. Отдельно, штабельком, лежали десятка два картин в багетных рамах – все, что удалось выхватить из огня, в основном с бельведера. На той картине, что лежала сверху остальных, перламутром и синью блистала снежная гора и в разудалом раскате неслись на санках раскрасневшиеся, смеющиеся, пухлощекие девушки в мордовских полушалках, овчинных шубейках.

«Сычков!» – догадался Костя об имени художника. Он уже видел однажды таких девушек. Но то был другой, похожий, вариант. Тогда, в музее, картина остановила Костю своим заражающим весельем деревенского праздника. А сейчас ему показались невероятными и ее снег, и смеющиеся лица девушек. Какой мог быть снег после такого огня, какое могло быть веселье после такого несчастья?..

Отвернувшись от картины, он поднял из мокрой грязи толстый том в кожаном переплете, с отпечатком чьей-то подошвы. Ньютон... Издание 1789 года. Другая книга оказалась на английском – «Звездный атлас» Джона Флемстида, 1729 год.

Отряхнув грязь, Костя осторожно положил книги в общую кучу.

Где только Мязин их добывал? Каждая из них уникальн, редкость, а то и последний сохранившийся в мире экземпляр...

– Я ж тебе сказал – нельзя! А ты снова свое, пристаешь! – дошел до Кости рассерженный голос Мрыхина. – Не могу я тебе это своей властью позволить, неужто непонятно?

Возле Мрыхина стоял – Костя сразу узнал его – вчерашний старик грибовар, сокрушавшийся, что отринули бога и нет истинного закона жизни.

Терпеливо выждав, пока Мрыхин замолчит, грибовар заговорил что-то опять – просительным, шепеляво-гудливым голосом.

– Вот человек! – воскликнул Мрыхин, оглядываясь для поддержки на возившегося с книгами милиционера и Костю. – Пять раз уже объяснил, а ему хоть бы что! Мало ли вас, родичей, найдется, не могу ж я вот так запросто налево-направо имущество раздавать! Действуй законным путем, иди в горсовет или куда, проси там. Разрешат – тогда бери, пожалуйста, мне-то что!

– Дак растащут же, покуда выходишь! – уже не просительно, а с недовольством упорствовал старик. – Не знаешь, чо ли, каки наши конторы, в них-от не торопятся... Вы ж тут день-ночь сторожевать не будете, уйдете – тем же часом и растащут! Народ-от ведь какой? Мне ж этого ничего не надоть, не прошу, – показал он на домашнюю утварь, книги, картины. – Порядок мы понимаю. Мне ведь что? Всего только кирпичу... Ты ж мою квартиру видал? Печку видал? Ну? Худая, прогорелая вся, не варит, не греет, нову надо класть... Хозяин говорит – промысли-де кирпичу, переложим печку. А где кирпич, где его купишь? Да и труха, а не кирпич, такой-то он ныне... А тут кирпич старинный, прочный, его на сто лет хватит... Ну? Товарищ начальник!

– Точка, все! В шестой раз повторять не буду! – сказал Мрыхин, отворачиваясь от грибовара.

Старик насупленно замолчал, неохотно и медленно отошел в сторонку и остановился, видимо, в надежде, что Мрыхин разжалобится и передумает.

– Чего он хочет? – спросил Костя у Мрыхина.

Мрыхин усмехнулся.

– Да печку просит ему отдать, эту вот, с пожарища... На кирпич. Ну и люди, ума у них, что ль, нету? Привязался – отогнать не могу.

– Его как зовут – Илья Николаич?

– Вроде так. Из Мязиных он. Неподалеку тут живет, в подвале. Печка там, верно, у них завалилась, ремонт нужен. Так ведь порядок есть порядок...

«Удивительно! – подумал про себя Костя. – Что это? Как это назвать? Погиб родной ему по крови человек, сгорел дом, который он сам же строил с отцом Афанасия Мязина, а его заботят только какие-то кирпичи на ремонт печки!»

Мязин, похоже, понял, что от Мрыхина ему ничего не дожидаться, и двинулся со двора, неуклюже, тяжело загребая стоптанными кирзовыми сапогами.

– Илья Николаич! – окликнул Костя грибовара, догоняя его уже на улице. – Надо бы у вас одну вещицу узнать, для дела. Вы ведь Мязин, Илья Николаич?

– Ну? – Грибовар помаргивал красными, без ресниц веками и то ли не признавал Костю, то ли ради какой-то выжидательности не торопился признать.

– Этот пожар столько хлопот натворил... Имущество вот теперь беспризорное, родственников Афанасия Трифоныча надо отыскивать. Главные-то известны, а вот Яков Ибрагимович еще есть, Мухаметжанов. Где-то, говорят, он в городе, а вот где – не подскажете?

Желтоватое, в синих точках, иссеченное мелкими морщинами лицо старика ничем не отозвалось на фамилию Мухаметжанова. Но веки на секунду перестали двигаться, побыли в неподвижности.

– А вы, извиняюсь, кто будете, какая ваша служба?

– Да вот такая, что приходится мне в таких делах помогать... Мухаметжанов ведь ваш племянник, вы ему дядей доводитеесь, я не ошибаюсь?

«Знает – нет?» Внутри Кости точно натянулась тугая струна.

– Мухмежанов Яшка... – пошевелил Мязин клокастыми, совсем еще черными бровями. Казалось, он с усилием вспоминает. – Кака он нам родня? Ибрагимки, прохвоста, выродок... Мухмежанова Ибрагимки... К нашему делу подбирался! В руки его, дело-то, смекал заграбастать... Да вовремя его господь, сатану нечисту, прибрал!

– Так где ж он, Яков? Давно вы его видели?

– Где? Подох, поди, где-нито... – без интереса ответил Мязин. – А может, где и носит нечиста сила... Откуда про то знать? Жену его надо спросить. А нам он пошто? Не родня он нам, Мязиным, никакая! Нету у него права, чтоб его сюда приплетать...

Звериный сторож

В это же утро, в очень ранний его час, когда большинство городских жителей еще пребывало в постелях, когда пожарные на усадьбе Мязина еще добивали последние языки не желавшего смиряться пламени и следователь Виктор Баранников, не щадя нового костюма и венгерских полуботинок, делал первые свои следовательские находки, а друг его и коллега Константин Поперечный, умученный розысками многоженца Леснянского, спал в его квартире на роскошном поролоновом диване, – в этот ранний час в другой части города, где стояло здание цирка под конусом выгоревшего на солнце брезентового шапито, в пристроенном позади здания вонючем сарае с двумя рядами клеток просыпались звери.

Первой забегала взад-вперед по клетке черная пантера, длинная и гибкая, складывавшаяся на поворотах почти что вдвое. Бесшумно и легко встал на ноги и по-кошачьи потянулся, прогибая спину, царственно-медлительный лев Цезарь. Учувя, что он проснулся и трется гривой и затылком о прутья, в соседней с ним клетке открыла глаза львица Грета, тоже легко и бесшумно вскочила на подушки лап и, зевая, тоже потянулась гибким туловищем, далеко отставив задние ноги. За нею проснулся и третий лев, молодой, глуповатый и ленивый Нерон, которого укротительнице фрау Коплих приходилось стегать плетью, прежде чем он соглашался прыгнуть на шар или пройти по буму. Волки, огнисто-рыжие лисы, облезлый шакал с нагловатым и одновременно трусливым выражением морды – все уже были, в движении в своих клетках, терлись о прутья, сновали из угла в угол, стуча по дощатому полу когтистыми лапами.

В крайней в ряду клетке, рядом с клеткою царственного Цезаря, зашевелилась куча тряпья, лежащая на полу, и из-под тряпья, из-под старой войлочной попоны на свет рождающегося утра, вливавшийся в застекленный квадратный вырез в потолке, выползло еще одно существо – нет, не

медведь, не дикобраз, не обезьяна гиббон, хотя в ту минуту, когда оно вылезало, его можно было принять за любое из этих перечисленных представителей животного мира, – вылез косматый, до глаз заросший чернотой, неуверенно встающий на ноги человек в заношенной помятой одежде, в которой он спал на таком же тряпье, каким накрывался сверху.

Человек этот был ночным сторожем содержащихся в клетках зверей, их кормителем и уборщиком их нечистот.

Поднявшись на ноги, ухватись руками за прутья, он постоял так несколько минут с полузакрытыми глазами и опущенной на грудь головой. Ложась спать, он допил припрятанную в том углу, где хранились орудия его труда – метлы, веники, лопаты, скребки, – бутылку перцовки, и теперь в его голове был туман.

Однако туман постепенно разошелся, он открыл глаза и в первую секунду испуганно вздрогнул, увидев перед собой решетку. Он всегда вздрагивал, пробуждаясь и видя решетку перед своим лицом, и чувствовал замешательство и тоску, пока не вспоминал, что он всего-навсего в цирке, в звериной клетке, которую он сделал местом своих ночлегов, чтобы быть в безопасности.

Не в клетке он не засыпал. Он мог десять раз проверить запоры и все-таки терзаться страхом, что запоры ненадежны, что клыкастые его подопечные выберутся на волю и он окажется со всею их оравой один на один, ночью, в пустом безлюдном цирке...

Когда человек поднялся, Цезарь, прижмуриваясь, тревожно попятился назад. Он знал, что сейчас последует, ненавидел человека, воняющего водочным перегаром, нечесаного, неопрятного, мутно и тоже с ненавистью глядящего на него сквозь прутья, и заранее уже восставал против того оскорбления, какое должен был испытать.

Желтая струя ударила в широкий плоский нос Цезаря. Лев метнулся в другой угол, но струя настигла его и там. Цезарь взревел, жмуря глаза, отбиваясь от струи лапами. С гневным рыком он бросился на человека, но решетка пресекла его бросок.

Цезарь отскочил назад, присел на лапы, ударил кончиком нервно дрожащего хвоста о пол и снова яростно, с ревом прынул на решетку, пытаясь достать оскорбителя.

– Сволочь! – злорадно щерясь, сказал косматый, наслаждаясь бессилием льва, и смачно плюнул ему в морду.

Плевков не долетел до льва, но все-таки доставил человеку чувство полного, законченного удовлетворения.

Возле дощатых ворот, которыми зверинец сообщался с темным коридором, выведившим в само здание цирка и на манеж, стояла ржавая железная бочка. Из медного крана над нею размеренно капало.

Почесываясь, одергивая на себе одежду, человек умылся над бочкой из крана, погляделся в осколок зеркала, вставленный в щель дощатой, побеленной известкой стены. Из зеркала (осколок был маленький, физиономия не помещалась вся сразу) на него глянули по отдельности густой спутанный клок волос надо лбом, небритая щека, продолговатый, как черносливина, глаз в набрякших веках, сумрачно-темный, скучный, без живинки, затем крупный, слегка наклоненный на сторону нос, тонкая слабая шея с костяным бугорком кадыка, просвечивающим сквозь густую, уже далее начавшую курчаветь щетину.

Физиономия была не из приятных – бродяжки-нищего, какие в изобилии встречались когда-то на вокзалах, скрючившись, ночевали на подсолнуховой шелухе под лавками, ездили на буферах, крышах, в вагонных тамбурах. Она, эта физиономия, постоянно, день ото дня, видоизменялась с прибавлением волос и даже на самого звериного сторожа производила впечатление чужой и незнакомой, когда он гляделся в осколок зеркала возле бочки или проходил мимо большого коридорного трюмо, поставленного для артистов, чтобы перед выходом на арену, к публике, они могли в последний раз проверить исправность своего туалета.

Маленький треугольный осколок зеркала настойчиво убеждал побриться, состричь с головы нарощенную копну волос, придать себе нормальный человеческий облик, но звериный сторож, обозрев свою наружность, остался вполне доволен ею. Щербатой расческой, торчавшей из щели рядом с зеркалом, он продрал несколько раз по спутанным, пружинно-жестким волосам, кое-как победил их своеволие, примял их к голове, пригладил, напустил с боков на уши густые пряди – и на этом его утренний туалет был закончен.

В зверином стороже, как видно, был талант настоящих артистов, органически присущая им способность к трансформации: даже такое нехитрое и недолгое прихорашивание существенно видоизменило его облик. Теперь он уже не выглядел как вокзальный бродяжка, жалкий бездомник, теперь в нем открылось, проступило что-то совсем другое – что-то сугубо артистическое. Теперь его можно было принять за бывшего актера, знавшего хорошие времена, но по каким-то причинам выбитого из колеи, разлученного со сценической карьерой, вынужденного сойти на много ступеней вниз и тяжело удрученного таким поворотом своей судьбы.

Оскорбленный Цезарь молчаливо, с гневным мерцанием во взоре следил сквозь прутья за всеми перемещениями сторожа внутри сарая. Голодная пантера с поджатым под брюхо хвостом продолжала как маятник сновать по клетке с удивительным однообразием, точной повторяемостью всех движений.

Ударом швабры на длинной палке звериный надсмотрщик прервал ее маятникообразный бег, загнал пантеру в дальний угол клетки и в раздражении от противного ему труда, который он должен был исполнять, размашистыми, небрежными движениями стал чистить доски пола.

Пантере не нравилось, если пол в клетке бывал мокр. Она начинала тогда фыркать, брезгливо поджимать лапы.

Именно поэтому чистильщик клеток не поленился набрать из бочки полное ведро и выплеснуть его на доски пола, послав поток воды прямо на сжавшуюся в комок пантеру, заставив ее подпрыгнуть и страдальчески взвять.

Цезарь не подчинился удару шваброй. Скаля кривые клыки, шипя, он резко взмахнул лапой, поймал швабру и прижал ее к полу. Чистильщик злобно дернул ее к себе, но Цезарь, пуша белые усы, еще сильнее обнажил клыки. Из глотки его вырвалось низкое рокотание.

– Ага, ты так! – прохрипел сторож. – Ладно, сейчас ты у меня испробуешь!

Выпустив швабру, он кинулся в угол, где стоял его инвентарь, чтобы вооружиться длинным железным трезубцем, на котором он при кормлении подавал животным в клетки мясо.

– Арчил! – позвал голос из-за ворот.

Они со скрипом растворились. Въехала тележка с ящиком. В нем розовели крупные куски мяса.

– Принимай, Арчил! – сказал рабочий, толкавший тележку, и, оставив ее, ушел.

Звериный сторож, хотя и схватил уже железную палку, не стал возвращаться к Цезарю. Появление тележки перебило его запал. Кроме того, он уже столько раз бил льва, что теперь, при битье, мало получал удовольствия, зато уставал и намокал потом. И к тому же появление мяса наполнило его иною заботой и иными мыслями.

Наклонившись над ящиком, он поворошил куски рукою. Опять костей больше, чем мякоти. Воруют, сволочи! Руки бы им поотрубить! Безусловно, как пить дать, ворует шофер, что ездит за мясом на хладокомбинат, воруют те, кто стряпает цирковым животным еду, воруют, конечно, и этот рабочий, что привез сюда ящик... Ишь, что осталось, – мослы одни! По морде бы их этими мослами, сволочей! И выбрать-то нечего!

Переворотив весь ящик, он все-таки отыскал несколько приличных кусков, завернул их в газету и сунул сверток в угол, за метлы и веники. Много за такое мясо не выручишь, но обычная его пятерка в кармане будет.

Каждое утро препровождал он подобные сверточки знакомому мяснику в лавке при базаре. Выручка делилась джентльменски: пополам. Жалкие, ничтожные мизерные рубли!.. Можно было бы вполне без них обойтись, они были ему совсем не нужны... Но так уж был он устроен, что не мог пропустить того, что само давалось в руки. Опять же – пятерка! На нее можно было есть-пить весь текущий день, курить хорошие папиросы, не трогая ни копейки из других своих денег.

Звери метались в клетках. Они видели, что исчезает их мясо. Они понимали, что значат манипуляции, которые производит сторож над их кормом. Когда тот, кого цирковой рабочий назвал Арчилом, понес сверток в угол и стал запихивать под метлы, волки, наиболее беспокойно следившие за ним и более всех волновавшиеся, встав в клетках на дыбы и подняв морды, дружно взвыли...

Раздача мяса, перемена в клетках питьевой воды на свежую заняли еще полчаса. В семь пришел помощник фрау Коплих – маленький лысоватый толстячок в кожаной куртке с «молниями» на карманах.

– Ви обращались хорошо моим животным? Ви дафаль им корм, вода? – спросил он Арчила.

– Все зер гут. Полный порядок, нормаль! – ответил звериный сторож.

Немец на «молниях», удовлетворенный ответом, кивнул лысой головой и отправился готовить к репетиции манеж.

Звериному сторожу теперь можно было ненадолго уйти для завтрака и своих дел.

Натянув пиджачок, обвисяющий на плечах, бежевую кепку того фасона, что распространен южнее Сочи, спрятав под полу пиджака сверток с мясом, звериный сторож вышел из темных лабиринтов пристроек, лепившихся на задах циркового здания, в ослепительный свет солнечной улицы.

До базара и мясной лавки надо было пройти три или четыре недлинных квартала.

Встретился знакомый, униформист из цирка, поздоровался. Звериный сторож тоже поздоровался, но по-грузински, словами, которые можно было перевести как «привет».

До мясной лавки оставалось совсем немного, звериный сторож уже поворачивал в проулок к базару – в самом безмятежном и покойном настроении, как вдруг среди людей, заполняющих тротуары, различил фигуру высокого худого парня, на две головы возвышающегося над всеми другими прохожими, в узких безманжетных брючках и светлом, спортивного покроя пиджаке, разрезанном сзади почти до талии. В походке парня было что-то такое характерное, что ее нельзя было не запомнить, однажды увидевши: он шел, наклонясь несколько вперед корпусом, точно против сильного ветра, болтая длинными руками не совсем в лад шагам, ступни ставил не прямо, а заметно вкось. Spина его слегка сутулилась, как почти у всех высоких людей.

Звериный сторож запнулся на ходу, вперившись взглядом в удаляющегося парня. В стольких городах, в таких краях земли пришлось ему побывать, особенно в последнее время, что для него было не просто вспомнить, где именно видел он этого длинновязого парня с его болтающимися руками, чудноватой походкой...

Но все-таки он вспомнил!

Кровь зашумела у него в голове, мгновенно рванувшись в стремительный, напряженный бег.

Почему он в захолустном Кугуш-Кабане, этот длиннорукий парень? Что привело его сюда? Ведь не случайно же он здесь! Там, где вот так же, на улице, видел его звериный сторож, он был одет иначе – в темный форменный костюм с зелеными петлицами и эмблемами сотрудника государственной прокуратуры...

«Надеюсь, вы примете во внимание...»

Знаменитый французский писатель Александр Дюма-пэр (по-русски сказать – отец) романы свои населял таким множеством героев, что подчас и сам не мог их всех запомнить. Чтобы, не дай бог, не напутать чего при таком великом многолюдстве, он заводил на действующих лиц учетные карточки, где обозначались внешность героя, возраст, черты характера и его, так сказать, должность в романе. Когда героя убивали (он редко умирал своей смертью), Дюма-пэр выкидывал соответствующую карточку вон, а если в действие вторгалось новое лицо – заводил новую. Дела у него таким образом шли преотлично, чему доказательством – неисчислимое количество сочиненных им романов.

Нечто подобное придумал в своем служебном следственном хозяйстве и Виктор Баранников. Если привлекавшихся по делу оказывалось не один, не два, а много, он вырезал для каждого картонный ярлык, в который точно так же, как и Дюма, заносил все необходимые по его мнению сведения, начиная с года рождения подсудимого, круга его знакомств, образа жизни – вплоть до мелких страстишек и незначительных, на первый взгляд, особенностей.

Придя в свой кабинет, возле дверей которого уже дожидалась вызванная им Олимпиада, он первым делом вынул из ящика письменного стола пачку аккуратно нарезанных карточек и озаглавил некоторые из них.

Олимпиада Чунихина. Антонида Писляк. Писляк Митрофан Сильвестрович. Илья Мязин. Евгений Мировицкий. Келелейкин. Николай Чунихин (Олимпиадин сын). Гелий Мязин. Елизавета Мухаметжанова. Валентин Мухаметжанов.

М-м-м... Кто еще?

Вспомнив подкинутую Костей версию, написал: «Яков Ибрагимович Мухаметжанов».

Последняя карточка называлась: «Человек, вылезавший ночью из окна. Икс».

Стрелки настольных часов показывали пять минут девятого, когда позвонили из судмедэкспертизы.

– Да? – сказал Виктор в трубку. – Как? Как вы говорите? Трещина? Ну что ж, этого и надо было ожидать... Да-да... Конечно. Камень? Пришлите, пожалуйста. Спасибо.

Он положил перед собою карточку с наименованием «Олимпиада Чунихина».

Что-то такое было во всем облике старшей из сестер Мязиных, почему Баранников решил начать именно с нее. Да, что-то такое было в этой женщине...

Ее крепко сжатые фиолетовые губы.

Мужские, широкие в кистях, узловатые, грубые руки.

Властный тяжелый взгляд темных, широко поставленных глаз.

Наконец, эта ее монашеская одежда и смутные слухи о тайных занятиях лечебным знахарством.

Виктор набросал на листке ряд вопросов, которыми он собирался начать разговор с Олимпиадой:

1) С какой целью собирались родственники у больного Мязина днем?

2) Кто именно присутствовал?

3) Причина шумного разговора? (Показания соседей).

4) Где находилась между двенадцатью и часом ночи?

5) Как себя чувствовал Афанасий Мязин вечером? Не сказалась ли на его здоровье дневная ссора с родственниками?

Последним вопросом Баранников накидывал хитрую петельку. Он хищно округлил глаза, усмехнулся. Представил себе, как забьется старуха в искусно расставленных тенетах.

За рядом новых вопросов (завещание, отношения покойного с сыном Гелием, Антонидой и Писляком, дружба с Мировицким и пр.) – новая петелька...

Виктор не успел записать мысль. Дверь с шумом распахнулась, и в кабинет стремительно вошел хорошо, даже франтовато одетый человек лет тридцати пяти. Плотнo притворив за собой обитую черной клеенкой дверь, он приблизился к Виктору, отрывисто бросил:

– Мязин. Гелий Афанасьевич, – и тотчас свободно, непринужденно уселся возле стола.

– Что вам угодно?

Холодный взгляд Виктора на секунду скользнул по Лицу Гелия, остановившись где-то на щегольской заколке его узенького модного галстука.

– Ка-ак?! – удивленно приподнял Гелий черные соболиные брови. – Вы... вы мне задаете такой вопрос? Мне?

– Не понимаю, что вас так удивляет, – пожал плечами Баранников, закуривая сигарету. – По тому, как вы поспешно, я бы даже сказал, решительно возникли передо мной, что же мне остается, как не заключить, что вам что-то нужно от меня...

Покуривая, он исподволь, не спеша разглядывал младшего Мязина.

Ох, этот Баранников с его пронзительными глазами, с его сдержанными, точными жестами, за которыми чувствовался как бы скрытый ток, готовый каждую секунду вырваться наружу и забушевать со страшной силой!

Гелий тертый был калач, а и то смешался несколько, пронзенный голубым электричеством баранниковского взгляда.

– По этому... ужасному делу, – сказал он, оправившись от растерянности. – Мне казалось, что вам как следователю интересно будет...

– Безусловно, – вежливо, кротко согласился Баранников. – Не только интересно, но и необходимо. Однако, – добавил он, ни на секунду не выпуская Мязина-младшего из поля действия высокого напряжения своего взгляда, – однако должен вам сказать, Гелий Афанасьевич, что беседовать с вами мы будем несколько позднее.

– Но позвольте... – Гелий даже привскочил на стуле. – Я, как ближайший родственник, имею право... Это очень важно! Я к вам пришел как коммунист к коммунисту...

«Э, да ты штучка! – весело подумал Баранников. – Холеный, черт... Барин!»

Гелий нервно тербил пуговку своего сногшибательного вязаного жилета.

– Позвольте мне вести следствие в том порядке, какой я нахожу целесообразным, – надменно сказал Баранников,

– Хотите сперва допросить тетюшек и дядюшек? – неприязненно насторожился Гелий. – Доверяете им больше, чем мне? Родному сыну?

Виктор оторвал от него свой взгляд, отвернулся и ловко пустил колечко дыма.

– Но послушайте! – Младший Мязин явно нервничал и не умел побороть в себе эту нервозность. – Ведь они черт знает что наговорят обо мне! Я потому и настаиваю на том, чтобы вы выслушали меня прежде их...

– У вас, кажется, неважные отношения с родственниками? – как бы даже сочувственно осведомился Баранников.

– Да вы представляете себе, что это за семейка – Мязины?!

– Позвольте, позвольте. Гелий Афанасьевич, но ведь вы-то сами тоже носите эту фамилию...

– Ах, дело не в фамилии! Я давно порвал с отцом, я совершенно не признаю родства с этими мракобесами!

– Простите, так – об отце?

– Нет, не о нем. Он хотя и очень низко поступил со мной, но это все же наш... советский человек...

– Вы были с ним в ссоре?

– Да... Но я, знаете, не очень строго его сужу: старческий маразм, семьдесят лет, ранения... Что вы хотите? В последние годы такой у него был пунктик... навязчивая, так сказать, идея...

– А если выразить это конкретней?

– Ну... постоянные подозрения, желание найти в честном коммунисте что-то порочащее...

Мязин-младший поежился. Странное ощущение! Баранников глядел на его галстучную заколку, но Гелий чувствовал взгляд на своем лице – глаз в глаз. Это было ужасно неприятно. Он с облегчением вздохнул, когда в кабинет вошел милиционер и положил на стол перед Баранниковым какой-то сверток.

– Спасибо, товарищ Ерыкалов... Да! – остановил Баранников милиционера. – Будь добр, скажи Чунихиной, что я ее вызову минут через десять...

Помолчал. Побарабанил пальцами по свертку.

– А почему вы поссорились с отцом? – Баранников прямо-таки ласкал Гелия своим голубым взором.

Мязин-младший наклонил тщательно причесанную голову.

– В двух словах это не объяснишь... Отцы и дети. Извечный конфликт. Я был обижен, возмущен, не желал оставаться в ложном положении... Чтобы чертовы тетюшки не чесали языки вокруг наших отношений, я даже официально отказался от наследства.

– Вот даже как!

Взгляд Баранникова сделался вдруг рассеянным. Скользнул по окну, по телефону, по карте Кугуш-Кабанского района.

– А где вы были вчера? Между двенадцатью и часом ночи, – прибавил он после небольшой паузы совершенно спокойным, разговорным тоном.

– Я? Позвольте... Вчера? Между двенадцатью и... Ах да! С приятелем зашли поужинать в «Тайгу», ну и... выпили немножко...

– Фамилия вашего приятеля?

– Гнедич. Павел Михайлович Гнедич. Наш преподаватель по товароведению.

Баранников записал: «П. М. Гнедич. Товаровед».

– В каком часу вы расстались с Гнедичем?

– Простите, это что – допрос? – оскорбленно выпрямился Гелий. – Я не понимаю...

– Вы когда-нибудь держали в руках этот предмет?

Баранников быстро развернул сверток. В нем оказался буровато-серый, довольно увесистый камень.

– Н-нет! – испуганно отшатнулся Гелий. – Что это?
– Значит, вам этот камень незнаком?.. Ну, прошу прощения..
Баранников встал, мельком взглянув на ручные часы, давая понять, что беседа окончена.
– Надеюсь, вы примете во внимание, если мои так называемые родственники..
– Конечно, конечно, – заверил Виктор. – Будьте спокойны, следствие все учтет.
В дверях Мязин-младший столкнулся с Костей.
– А! – воскликнул Баранников. – Прекрасно, в самый раз... Будь добр, старик, пригласи ко мне Чунихину.

Олимпиада

Она сидела несокрушимо, опустив глаза, с отчужденным плоским лицом грубо вырубленного деревянного бога. Ни единого жеста, ни наклона или поворота головы, движения стана. Лишь темные длинные пальцы могучей мужицкой руки с невероятной быстротой перебирали ременную лестовку.

Костя даже смешно, по-детски приоткрыл рот, разглядывая ее: таких он еще не видывал, в средней полосе России подобных не водилось. Когда-то что-то читано – у Мельникова, у Мамина-Сибиряка, у Горького. Образ был явно литературный, но ведь живой же человек сидел перед ним!

Черный, сколотый у подбородка, наглухо, до пояса спеленавший верхнюю часть тела платок, раскольничий сарафан до пят, бледные, словно окаменевшие скулы, кожаные четки, пальцы, перебирающие узелки ремешка... Ах, как все это казалось искусственно, именно – литературно, не жизненно! И лишь руки были живые, и в них-то, в этих темных, беспокойно бегающих по узелкам пальцах и была сокровенная суть, подлинный человек – Олимпиада Чунихина...

Баранников плел сети, закидывал петельки, горел голубым огнем испепеляющего взгляда. Олимпиада отвечала тихо, бесстрастно, не подымая глаз.

Виктор спросил: из-за чего была днем ссора, шумный разговор? «Никакой ссоры не было, – сказала Олимпиада, – так, ништо, семейно дело. Пощувáли маленько Афанасья, что не по-божецки живет, кровну родню забывает...» – «В чем же именно это выражалось?» – «Ну, разно. Семейно дело, пошто об том баить». Виктор спросил про завещание. «Ничего не ведаю, – сказала Олимпиада, – было ль, не было ль. Нам оно ни к чему, суета. О смерти мыслити надобно. Об домовине. О душе пещись...»

Архаичные, темные словеса были ее панцирем. Молнии баранниковских взглядов натыкались на плотно опущенные веки. Вековая вязовая крепость деревянного бога казалась неуязвимой, непроницаемой.

Виктор закинул петельку:

– Как чувствовал себя вечером Афанасий Трифонович?

Подобие улыбки мелькнуло на крепко сжатых фиолетовых губах старухи.

– И про то не ведаю, вечером не видала братца. Кабы была при ём, так, может, бог дал бы, и не стяслось того...

Баранников новую петельку через десяток вопросов закинул: велико ль в переводе на деньги, на советские рубли, было наследство?

– Чужие доходы не считаю, – ответила Олимпиада. – Деньги? Что мне оне? – Она сказала не они, а оне. И затем – с некоторой брезгливостью: – Про деньги у Писляка спрашивайте. У Антонида. Гораздо до денег жадны, в суете погрязли, яко торгующие во храме...

. – А вот вы, Олимпиада Трифоновна, – подал голос Костя, воспользовавшись минутной паузой, пока Баранников что-то записывал на своих карточках, – давно ли вы виделись с другим вашим братом?

– С другим братом? – переспросила она. – Каким таким?

Впервые голова ее вышла из неподвижности, качнувшись отрицательно:

– Нету у меня другого брата.

– Но Яков. Ибрагимыч Мухаметжанов... – начал было Костя.

– Бабайка некрещена! – презрительно, зло сказала Олимпиада. – Какой он мне брат, татарско отродье!

– Но что вы, по крайней мере, знаете о нем? Жив ли? Где находится?

– Ничего не знаю. И в мыслях его погано рыло не держу.

– И давно его нет в вашем городе?

– Да вот как, однако, перед войной засудили, так и нету.

– У тебя все? – спросил Баранников.

Костя только плечами пожал: сам видишь!

– Тогда вот что, – Виктор обернулся к Олимпиаде. – Расскажите о вашем сыне.

– А что об ём? Я его много-много, коли раз в месяц зрю. Плотогон ведь. Вон чего.

– Вы можете сказать, где он был вчера вечером?

– На пристани, однако. Буксир в ночь побежал на Верх, так и он с им.

– Так-так... С буксиром, значит... – Баранников полистал какие-то бумаги, дробно постучал карандашиком по настольному стеклу. – А вы в этом уверены, что – с буксиром? – медленно, расставляя слова, значительно произнес он.

Костя удивленно глянул на Виктора: новую петельку, что ли, закидывает? – и тотчас перевел взгляд на Олимпиадины руки: пальцы ее, все время неутомимо перебиравшие лестовку, остановились. На две-три секунды, но замерли вдруг. «Вот оно, сокровенное!» – подумал Костя.

– Значит, – продолжал Баранников, – сынок ваш сейчас на Верхней Пристани находится?

– Да-а-а, дак ведь кто ж его ведат! – Что-то словно бы дрогнуло в непроницаемой маске старухи. – Уплыл, будто, в ночь – дак чо? Может, на мель сел катер-то... Не-то, борони господь, пьяной напился...

– Зашибает?

– Кто у них там не зашибат! Беда...

Баранников рассеянно кивнул головой. Поднял трубку телефона, пострекотал диском.

– Междугородная? Говорят из прокуратуры. Да-да. Срочно соедините с Верхней Пристанью. Минут через десять? Отлично. Жду.

Костя, не отрываясь, глядел на Олимпиадины пальцы. Ну-ка, ну-ка? Стоп! Замерли...

Он усмехнулся внутренне: это уже была не случайность.

– А теперь, – обратился Баранников к старухе, – теперь, Олимпиада Трифоновна, последний вопрос. Где находились вы сами в момент убийства вашего брата? Так, в двенадцать, в час ночи?

Боже мой! У Кости дыхание перехватило: мало того, что Олимпиадины руки бездействовали, они дрожали...

Звонок с Верхней Пристани

– Какова?

Баранников откинулся на спинку стула, оттолкнувшись от стола, поставил его на задние ножки и так, раскачиваясь на них, пронзительно посмотрел на Костю. Самые разнообразные чувства бушевали в его взгляде: раздраженность, досада, ирония и даже какая-то доля восхищения перед диковинным человеческим экземпляром, который он только что демонстрировал Косте.

– Н-да... – протянул Костя. – Ископаемая дамочка... Такие когда-то себя в скитах сжигали.

– Ну, насчет самосожжения – не знаю, но что туману она напустит, это уж будьте покойны...

– Твердыня! – сказал Костя, вкладывая в ироническую интонацию еще и вполне искреннюю уважительность.

– Твердыня-то твердыня, а что-то заерзала она в конце концов. Ты заметил?

– Еще бы! Два момента причинили ей беспокойство – разговор о сыне и твой последний вопрос.

– А как, по-твоему, врет она, что ночью была дома?

– По-моему, врет.

- М-м... Но, черт возьми, не сама же она пристукнула старика?
- С такими ручищами – не удивлюсь, если окажется, что и сама.
- Нет-нет! Но вот сынишка...
- Ты его знаешь?
- Наводил справки. Шалопай, пьянчуга. Отбывал срок за хулиганство. Физически – буйвол.
- Коротко, но ясно. Слушай, – встрепенулся Костя, – покажи-ка ты мне этот камушек...

Минут пять он разглядывал темный, с каким-то буроватым отливом камень, поворачивая так и этак, прикидывая на ладони его тяжесть.

- Ну? – спросил Баранников.
- Камень как камень. Цвет у него чудной, вот единственно. С подпалиной.
- Так ведь из пожара вытащен. Ничего удивительного.
- Телефон задребезжал яростно, настойчиво. Баранников рванул трубку.
- Алло, алло! Верхняя Пристань? Верхняя Пристань?

На линии, очевидно, была гроза: в трубке трещало, щелкало, голос с Верхней Пристани то и дело прерывался этими шумами. Баранников орал до хрипоты: «Чунихин! Чунихин! По буквам – человек, Ульяна, Николай, Иван... А, черт! Алло! Алло! Верхняя Пристань!» И как ни вслушивался Костя, так ничего и не понял.

Вспотевший Баранников наконец сердито кинул трубку на рычаги и сказал:

- Не было его там ночью. И сейчас нету...

Митрофан Писляк

Директор кладбища Писляк всегда был чисто выбрит, опрыскан одеколоном и так распаренно-красен, как будто он только что из бани. Жиденькие белесые волосы лежали на висках точно приклеенные. Хромовые сапожки тридцать восьмого размера начищены до зеркального блеска. Брюки-галифе разутюжены, пиджачок – веселый, рябенький, с торчащим из бокового кармашка карандашным наконечником.

Он держал себя независимо, непринужденно, как и подобает ответственному работнику. Отвечал обстоятельно, с готовностью, не лотоша. Строгое, несколько скорбное выражение, в полном соответствии с поводом, приведшим его в прокуратуру, присутствовало на его багровой физиономии.

Да, к несчастью, последняя встреча с уважаемым Афанасьем Трифоновичем была омрачена неприятным семейным разговором. Причины? Сушчие пустяки. На религиозной почве. Должен сказать, что они все, Мязины, из староверов, привержены, так сказать, ко всякой там обрадности, как-то: причащение, соборование и прочее. Моя-то Антонида Трифоновна на сегодняшний день свободна от подобных предрассудков, перевоспитана мною, так сказать, на все сто процентов... Но вот Олимпиада да еще дяденька ихний Илья Николаич, эти – о! Образно говоря – ведмедь! Семейные ссоры, конечно, дело такое, куда от них денешься, но ведь смотря из-за чего... Ежели – обрадность, причащение – значит, и попа приглашать, верно? Так ведь Афанасий-то Трифонуичу это, как бы сказать, и неудобно как старому партийцу и прочее... Ну те, вот так и пошумели на этой почве маленько...

Нашчет имущества? На какую сумму оценил бы? Порадочно. Весьма порадочно. Да вы посудите, теперь это не секрет, всем известно: одна картинка что стоит... Ну те, а там дом, книги, прочие вещи. Не считая трапок, заметьте! Ковры там всякие бухарские, мебелировка и тому подобное. Да, совершенно справедливо. Супруга моя была бы в доле наследования. По закону. Но боже мой! Это – святая женщина, житейская, образно говоря, грязь для нее не составляет существа вопроса. Мы с ней никогда не обсуждали на эту тему...

Вот этим камушком, говорите, пристукнули Афанасья Трифонуича? Ай-яй-яй! Ведь это что ж такое, товарищичи! К коммунизму подходим, и такое членовредительство! Есть еще, есть у нас пережитки проклятого прошлого, вишь ешчо какие субчики находятяся! Ну, что ты с ними будешь

делать? Намедни один в ресторане насадился, своему товарищу вилкой шчоку проткнул... а? Ведь это что! Ах да, да, виноват... слушаю.

Лично я в тот ужасный момент находился на производстве. Что? Да, вот именно, на кладбище. Вам смешно, что я сказал – производство? Но это ж так оно и есть, увераю! Землекопы, столяры, плотники, художники, лепшчики, жестянщики и щетоводство – целый отряд, двадцать четыре человека, помилуйте!

Кто, простите? Мухаметжанов Яков? Нет, такого не знавал. Валентин Мухаметжанов – этот работает у меня в качестве художника. А-а! Его отец! Абсолютно не в курсе дела. Слышал, слышал о таком, как же... Родня, так сказать, по супруге... Но дело в том, товарищи, что, когда я обосновался в Кугуш-Кабане, сей авантюрист уже отсиживал, и я его, к счастью, и в глаза не видал...

Разрешите идти? Всегда готов оказать любую помощь следствию. Всего доброго, товарищи!

Антонида

Это было сплошное олицетворение скорби.

Очи, возведенные горé, тяжкие вздохи, покачивание головой, тихий унылый голос. Трудно было вообразить, как эта самая женщина еще только вчера пронзительно выкрикивала: «Кипеть! Кипеть в котлах адовых! Шлём-от носил! Звезду пятиконечну!»

Она сидела на краешке стула скромнехонько, поджав в ниточку тонкие бескровные губы, вежливо, пискливо покашливая перед тем как ответить. Покойного Мязина называла ласково-уменьшительно – братец, как, впрочем, и всю остальную родню: папенька, маменька, дяденька, сестрица.

Отвечала довольно охотно и связно, но ничего такого, что явилось бы для расследования важным, ею сказано не было. Про завещание: «Ничего не знаю. Это ихнее, братцево, дело. Кому хотели, тому и завещали». Про ссору Мязина с сыном: «Кто ж их знает, что у них промеж себя за распря вышла: чужая семья – лес темный». Об Олимпиаде отозвалась так: «Сестрица – женщина молитвенная, у ей одна праведность на уме». Про Кольку, что «действительно зашибат, так ведь нынче вся молодежь запьянцовская, а что-нибудь такое-эдакое за ним не замечалось».

На Костин вопрос об Якове Ибрагимыче ответила сокрушенно:

– Негодяй, пошлый человек! Бросил Лизаньку, когда еще и Валечка не родился, по тюрьмам пошел... А где он сейчас – господь его ведат. Надо быть – помер или сидит...

И лишь когда Баранников исчерпал все вопросы и яростное пламя его взглядов начало было понемножку затухать, эта тихоня, эта смиренница вдруг взяла да и огорошила следователей:

– А что до того, кто братца порешил, – сказала она, вздохнув, – так это ничьих, кроме как его дружка-приятеля, рук дело... Я, грешница, насчет его всегда сумнение держала – нехороший, дикой человек, пускай хоть и священный сан на ём был...

– Вы о ком, позвольте? – Баранников так и взвился. – О Мировицком?

– Да а то о ком же, – спокойно произнесла Антонида, – об ём.

– У вас что же, какие-нибудь факты имеются? – Испепеляющий взор Баранникова впился в Антониду. – Вам что-нибудь известно?

– Да нет, фактов не имеется и ничего не известно, – сказала Антонида, – а просто так, сумнение берет. Очень уж человек не такой какой-то...

«Что мы имеем на сегодняшний день!»

Когда Митрофан Сильвестрович вышел из прокуратуры, часы на почте показывали десять минут двенадцатого. Он сверился со своими. Да, точно, расхождение составляло всего лишь одну

минуту. Это означало, что он опаздывает на производственное совещание, которое должно было начаться ровно в одиннадцать.

Такая неприятность!

Он любил точность, строго спрашивал ее со своих подчиненных, всегда козыряя собственной аккуратностью, – и вдруг это такое опоздание!

Объективные причины, конечно: вызов в прокуратуру, беседа со следователями.

Ох эта беседа!

Давеча, хоть и хорохорился перед двумя сопливыми мальчишками, а на душе, ежели признаться начистоту, кошки скребли...

Дело, товарищи, нешуточное. Убийство.

Всю жизнь сторонился сомнительных людей, чтобы, избавь бог, не запачкать об них свою репутацию, и вот, будьте любезны, оказалось, что со всех сторон окружен наисомнительнейшими...

Пристукнули старого чудака – бог с ним, не вот тебе беда какая. Но тень-то ведь и на него, на Писляка, ложится. Поскольку он в родстве с этими чертовыми Мязиными!

Вот, пожалуйста: уже и в прокуратуру потащили...

Родственнички!

Дед Илья, полоумный шайтан. Олимпиада-чернохвостница. Колька – разбойник, варнак Гелий Афанасьич.

Кто убил?

Темное дело, товарищи. Весьма и очень темное дело.

Ежели из вышеперечисленных, то прямо-таки затруднительно – на ком остановиться. Все хороши. У каждого рука не дрогнет, ежели тово... начистоту.

Путь от прокуратуры до кладбища не ближний. Можно, конечно, было бы и на автобусе подъехать, да сперва в голову не пришло, не тем была забита, а теперь, когда половину пути отмахал, – вроде бы уже и не к чему.

Стучат сапожки по дощатому тротуару.

Знакомые попадают. «Привет, товарищ Писляк!» «Митрофану Селиверстычу почтение!» «А-а, Селиверстыч!»

Привет, привет! Мое почтение... Будьте здоровы!

Писляк ускоряет шаг, видя соблезнующие вопросы на лицах, не желая останавливаться, переливать из пустого в порожнее на известную «тэму».

При таком широком круге знакомств – эти допросы и прокуратура! Эта двусмысленная сопричастность к делу... Пусть чисто формальная, но – сопричастность.

Митрофан Сильвестрович взмок от шибкой ходьбы. Скорее, скорее бы кладбище!

Вот оно наконец-то...

Чисто побеленная, выложенная кирпичными крестиками ограда. Пузатые башенки по бокам сводчатых ворот, над которыми – железный козырек. В середине свода с незапамятных времен чернела иконка, а теперь – только ржавый крюк и пустое место.

Первым делом, по назначении на должность директора, он приказал иконку убрать. На могилах – как угодно, дело ваше, хоть кресты, хоть что, а над входом – извините, религиозным атрибутам не место.

Умерив шаг, Писляк вступает в свои владения. С полдюжины черных кладбищенских старух, лениво переругивавшихся на скамейке у ворот, шустро смываются в кусты при виде директора. Росчерк гневной молнии, исходящей от лица Митрофана Сильвестровича, вдогонку поражает старушечьи укутанные рваными платками загорбки.

– У-у, кусошницы проклятущие!

На всех участках производства наведен надлежащий порядок, внедрено новое, передовое: нумерация кварталов, распределение мест в зависимости от общественного значения усопшего, именные таблички на могилах, анилиновая раскраска фотопортретов, водопроводная колонка с фонтанчиком для гигиенического питья... В этих и многих других мероприятиях преодолена, поборена рутина, изжиты предрассудки старины, и лишь против позорящих приличное лицо кладбища побирушек Писляку приходится признать свое бессилие: неискоренимы, окаянные!

Так, несколько раздраженный, переступил он порог конторы, где, дожидаясь, уже с полчаса томились его подчиненные. На ходу приглаживая слегка растрепавшиеся височки, солидно покашливая, отдуваясь от быстрой ходьбы, Митрофан Сильвестрович прошел к своему столу, зорко оглядел собравшихся, достал из портфеля пачку бумажек и, похлопав по ним ладошкой, сказал:

– Итак, товарищи, что мы имеем на сегодняшний день?

Пасьянсы Виктора Баранникова

В Управлении милиции сделали даже больше, чем обещали накануне.

Когда Костя вернулся к Баранникову, тот был в кабинете один, сидел за столом в задумчивой позе, подперев голову руками, и созерцал свои карточки, разложенные в виде пасьянса.

– Вопросов не имеется, – сказал он, взглянув на Костино лицо. – Все ясно.

– В городских прописках за послевоенные годы Леснянский не значится. И вообще среди местных жителей такой фамилии нет и никогда прежде не было.

– Ну и отлично. Езжай-ка ты домой и скажи этой своей Разуваевой – или как там ее? – что так ей и надо. да и дело с концом!

Костя засмеялся. У Изваловой даже волосы повылезали от злости, что денег лишилась. Скажи ей такое – десяток жалоб тотчас же полетит по телеграфу во все инстанции!

– Гадаешь? – кивнул он на пасьянс из карточек.

– Это, уважаемый Константин Андреич, не гаданье, а почти математика. Помнишь, как доказываются некоторые теоремы? Сначала всё подряд, огулом, считается за искомое. Затем при рассмотрении неверное одно за другим отпадает, и в остаток само собою выходит то, что есть истина, что требовалось найти. Вот так и здесь, – постучав пальцами по крышке стола, играя в самодовольство, сказал Баранников. – Да-да, вроде того, как ты про Мировицкого рассуждал. Только ты касался одного участника, а у меня это система, метод, я это применяю в масштабах всего дела. Искать с самого же начала главное действующее лицо среди множества людей, про которых еще ничего толком не известно, – ты это и сам отлично знаешь! – наверняка заблудиться и впасть в ошибку. Поэтому я поступаю так: каждого из привлеченных считаю за вероятного преступника. И прежде всего интересуюсь доказательствами невинности. Набралось их достаточно – карточку долой! Одна фигура со сцены сошла. Набралось еще – еще карточку долой. Постепенно карточки убывают...

Баранников быстро, движениями настоящего любителя пасьянсов смахнул в сторону большинство картонок.

Преднамеренно так получилось или же случайно, но на тех, которые он не тронул, были обозначены имена Николая Чунихина, Валентина Мухаметжанова и еще Икс...

– ...и остается, допустим, только три, – докончил Баранников. – Это и есть настоящие, искомые преступники. Теперь лишь обосновать их преступность, если к этому времени она еще не вырисовалась достаточно убедительно сама, и ждать благодарности за быстро и хорошо проведенное расследование...

– Черт побери, как оригинально! И как ново! – сказал Костя, изобразив восхищение.

– А что вообще в мире ново? – играя теперь в обиженность, сказал Баранников. – Новое – это всего лишь забытое старое. Этим методом я уже десятки дел с блеском провел, а ты вот с одним несчастным многоженцем второй месяц возишься...

– Что поделаешь! – вздохнул Костя. – Не всем же дано быть гениями. Кстати, у гениев бывает перерыв на обед?

– Биографы отвечают на это по-разному.

– А все-таки?

– Иди ты со своим обедом! Из буфета мне что-нибудь принесут. Сейчас самое время только ковать и ковать! Видел, как все на допросах юлили, незнайками прикидывались? Но это – ладно, гораздо важнее, что все они *перепуганы*. Вот поверь мне – или я не психолог и меня надо отсюда

гнать в три шеи, – еще самую чуть их подогреть, подбавить им температурки – и они все побегут сюда друг друга выдавать! Сейчас они, так сказать, «зреют». Сначала солидарность действовала, сплотка, уговор, может быть. А теперь это рвется. В каждом страхе за шкуру свою нарастает. Посмотришь, еще сегодня они сюда побегут. Сами понесут мне все факты. На тарелочках с голубой каемочкой. Вот на этот стол. А мне останется только взять нож и вилку и попробовать эти факты на зуб и на вкус: этот хорош, в дело его, а этот несъедобен, эрзац, забирайте назад, уважаемые граждане, давайте-ка что-нибудь другое, настоящее, добротное!

Баранников уже не играл в самодовольство, оно так и распирало его. И все-таки Косте было приятно глядеть на него и слушать. Редкостный напор энергии, что бурлил в Баранникове, извинял его с лихвой.

– Как полагаешь, кто прибежит первым?

– Ну, это уже гаданье... – пожал плечами Костя.

– Нет, и это не гаданье!

– Ну, может... сын Мязина...

– Хочешь пари? Я тебе точно скажу, кто прибежит!

– Кто?

– Нет, давай пари!

– Водки ты не пьешь, а в Кугуше вашем коньяк не водится... На бутылку кефира?

– Если получится по-моему, выпью и водку, ладно, не пожалею себя! Так вот – Писляк прибежит первым!

– Есть, замётано!

– По моим расчетам, процесс «дозревания» в нем приближается уже к концу... А пока он «дозревает», – сказал Баранников, сгребая в кучу карточки, – подумаем, что нам из срочных мер предпринять. Мировицкий, – прочитал он на карточке, которую первой взял в руку. – Надо послать к нему на дом оперативников, пусть устроят обыск, пошуруют...

– Ты его так-таки подозреваешь?

– Согласно методу, – как бы извинился Баранников. – Не могу же я освободить его от подозрений только потому, что он тебе понравился? Его ответы – там, у меня на квартире, когда он на колени грохнулся, – это ему в плюс, я их все-таки зачел. Вот не покажет ничего обыск – еще плюс. Пислячиха, конечно, на него просто болтанула... А там, возможно, и от картины что-нибудь найдется. Тогда последний плюс – и карточку его долой. Тебе ее отдам, сам порвешь. Между прочим, пока ты там бегал, он заходил сюда. Показал я ему камень...

– Ну? – насторожился Костя.

– При этом я ему все время в глаза смотрел. Похоже, видеть камушек было для него впервой. Подтвердил еще раз, что подобного камня в доме Мязина не хранилось. Я, признаться, немножко ожидал, что он камень этот «вспомнит»... Ты обратил тогда внимание, как я ему сам этот ход подбрасывал: может, запомнили? Может, вы просто не замечали? Но нет, не схватился за подсказку, не «вспомнил»! Потом он тут его ногтем колупал, нюхал... По его словам – а он, как краевед, и геологией отчасти занимался, – камень какой-то странный...

– Что это значит?

– Не из местных пород.

– Каким же тогда путем он здесь возник?

– Да самым простым. Не с луны, конечно, упал. Строители могли привезти – мало ли всякой щебенки, забутовки на платформах прибывает? Недавно в нашей газете в одной статье была критика: в окрестностях. только два маломощных карьера, а весь остальной строительный камень из других мест идет...

– А какой же все-таки породы этот камень, не сказал он, Мировицкий?

– Фу, ну и дотошный же ты мальчик! Совсем как в детской радиопередаче «Хочу все знать». Ну, что из того, что тебе породу назовут, – что это прибавит? Важно, что им голову Мязину проломили!

– А это уже точно установлено? Медэксперты дали заключение – удар произведен именно этим камнем?

– «Трещина в затылочной части черепа, вызвана ударом тупого предмета». А камень лежал рядом, в полутора шагах. Тебе этого достаточно?

– М-м... – промывчал Костя. – Заключение, я бы сказал, дает свободу толкований... Мязин мог получить эту трещину, просто ударившись головой при падении на пол...

– А падение отчего? Отчего падение? Просто так, головка закружилась? Ноги ослабли? Ты мудришь, а мудрить тут, ей-богу, нечего. От этого вот самого камушка падение, что в полутора шагах! Какую-то же роль камушек исполнил, для чего-то же он появился в квартире Мязина? Вот эту роль он и исполнил... Или ты уже забыл, что после полуночи к Мязину кто-то влезал в окно? Не с коробкой же конфет и не с тортом к нему лезли, а вот с этим камушком. И не для того, чтобы поздравить с днем рождения!..

– Мировицкий, следовательно, тогда исключается. Ему незачем было влезать в окно, ничто не препятствовало ему и войти, и выйти в дверь. Да и фигура у него – не для лазанья по окнам...

– Посмотрим, посмотрим... – не спеша согласился, сказал Баранников. – Всяко могло быть. Могло совпасть два преступления. Мировицкий похитил «Магдалину», А кто-то из мязинских родичей после его ухода забрался через окно, чтобы тюкнуть старика и выкрасть завещание. Могло так быть? Вполне! На президенте Кеннеди, как известно, сошлись заговоры трех или даже больше независимо действовавших групп.

– Хватил! Президент Кеннеди!

– А что? Разве надо быть обязательно президентом, чтобы тебя хотели убить одновременно два или три человека?

Баранников взял лист бумаги и стал записывать.

– Значит, так. *Мировицкий – обыск*. Набери-ка мне телефон начальника УГРО... Занят? Набирай, набирай еще, у них всегда занято, а то не прорвешься... *Гелий Аф. Мязин*. Говорит, после двенадцати был в «Тайге» с приятелем. *Проверить*. Приятель... как он сказал? Ага, вот – Гнедич Павел Михайлович... Так. Пометим еще вот что: *выяснить досконально отношения с отцом*. Жаль, Коська, не слыхал ты нашего с ним разговора! Это, я тебе скажу, калач еще тот – в десяти жерновах тертый! Знаешь, из породы вот таких: диплом, всякое там членство, должностное положение, внешне – полная интеллигентность, полная видимость образованности и культуры. Спроси – и Пушкина читал, и Карла Маркса процитирует, и теорию относительности почти как сам Эйнштейн может объяснить. А внутри, за этой оболочкой, – самый натуральный, первобытный хам. Троглодит. И сукин сын. Из всего, чем только наполнен мир, адсорбировал в свою суть одну только дрянь! Ты не задумывался никогда, как возникают такие люди? Откуда оно, такое устройство нутра, души, что ему способствует, помогает существовать?

– И как ты это объясняешь? – спросил Костя заинтересованно. Баранников стал философствовать! Раньше за ним такое не наблюдалось...

– Ладно, это разговор особый, специальный. Как-нибудь на досуге потолкуем... Да, и вот еще что: как все из такой породы, он, когда можно, – нахрапист, нагл, дерзок и груб. А когда ему грозит потерять с головы хотя бы волос – сразу превращается в кутенка, и все поджилки у него от трусости дрожат. Поглядел бы ты, как он сюда примчался! Как он меня поначалу пробовал: чем меня можно взять, что пройдет – пройдет ли нахрап, наглость, или надо потоньше? Глянул я на него – э, друг, а совесть-то у тебя здорово темна! Поджилки-то дрожат! Иди-ка, дозревай. Помайся, помайся, а потом мне и вопросов задавать тебе не придется...

Баранников отбросил карточку и взял новую.

– Писляк. *Проверить тоже*. «Был на производстве!» Это после полуночи. А производство – кладбище, – в точности сымитировал Баранников Митрофана Сильвестровича. – Что мог он там делать, на своем «производстве», после полуночи – ты в состоянии представить? Учет и переучет могил? Надзор, не встают ли покойники из гробов? Ох, товарищ директор, в чем-то вы нам проговорились!

Карточка за карточкой ложились на край стола, слева от Баранникова, снова образуя замысловатый пасьянс.

– *Олимпиада Чунихина. Антонида Писляк*. Эта совсем уж перестаралась: ничего не видела, не знает... *Николай Чунихин*. Неизвестно, где был ночью, где сейчас. Матери, конечно, это известно, но она скрыла... *Разыскать, установить местопребывание по часам и минутам*. Не хочу предварять события, но сдается мне, что этот мореход и выйдет на главные роли... Уж очень как-то это ему подходит... Ага, УГРО отвечает? – встrepенулcя Баранников, перехватывая трубку. –

Алло! Алло!.. Вот черт, ну и телефонная связь у нас, – разъединили, опять кто-то линию перехватил!

Он стал крутить на телефоне диск, всовывая в дырочки тупой конец карандаша.

– Ну, – сказал Костя, подымаясь, – я не гений, не пить и не есть еще не могу. Пойду-ка пообедаю. Занять тебе место, может, подойдешь?

Баранников, прижимавший к уху телефонную трубку, вместо ответа только сделал рукой знак: иди, иди, ну тебя к аллаху, не мешай!

«На сегодняшний день мы имеем форменный хавос, товарищи!»

Народ в конторе был самый пестрый.

Шестеро копачей, всегда державшихся кучкой, особняком, – суровые, молчаливые, чтоб не дышать сивушным перегаром, со следами могильного праха на кирзовых сапогах. Два фотографа – франты, кугуш-кабанские законодатели моды, гроза городских девчонок. Два художника: первый, горбоносый, темноглазый красавец Валька Мухаметжанов, и второй – нескладный прыщавый альбинос, оба в серых, перепачканных красками халатах. Пятеро столяров – кержацки бородатые мужики из тех, что в тридцатые годы утекли от сплошной коллективизации, в чистых холщовых передниках, удивительно похожие на статистов в массовке исторического фильма. Наконец, совершенно разнокалиберная мелкота – жестянщики, лепщики, счетоводные девы, уборщицы и всем известный кугуш-кабанский девяностолетний долгожитель, кладбищенский сторож Селим Алиев – огромный татарин с морщинистым бабьим лицом и голым, как жирная коленка, подбородком.

– На сегодняшний день, – продолжал Митрофан Сильвестрович, – мы имеем форменный хавос, товарищи!

Он отделил от пачки какую-то бумажку и постучал по ней согнутым указательным пальцем.

– Жалобы, товарищи! Претензии к землекопам – мелко закапываете, нарушаете установленные нормы... Норовите левака́ зашибить, магарычами прельщаетесь. А тень на кого? На кого тень, я спрашиваю?

Землекопы закричали, заерзали на стульях.

– Тень, товарищи, ложится на меня! В чей адрес поступило заявление? В адрес директора кладбища, товарищи! Клиенту, товарищи, безразлично, кто персонально копал – Иванов, допустим, Петров или Сидоров. Клиент спрашивает с Писляка! Далее...

Митрофан Сильвестрович другой бумажкой помахал над столом.

– Далее столярного цеха касаемо. Вот – будьте любезны, гражданин Свишчов пишет, что в гробу из досок сучки повыскакивали, восемь дырок получилось в гробу. «В подобной таре, – пишет гражданин Свишчов, – разве только фрукты по почте посылать!» А, товарищи? Подумайте: фрукты! Это уже форменная сатира получается в наш адрес! Категорически заявляю, товарищи: сатиры не потерплю! Мою репутацию ещо никто не трепал зазря, моя репутация... – Писляк осекся на мгновение, – ...чиста и белоснежна! – закончил он, но как-то уже вяло, без подъема и даже скороговоркой.

Дело в том, что, заносчиво помянув о своей белоснежной репутации, Митрофан Сильвестрович вдруг сам с ужасающей отчетливостью почувствовал предательскую фальшивинку в голосе, почувствовал, что перехватил. Стремительно скользнув взглядом по лицам подчиненных, поймал на пухлых девичьих губах Вальки Мухаметжанова улыбочку довольно недвусмысленную, говорящую: «Знаем-де твою репутацию! С хорошей репутацией по прокуратурам спозаранку, ни свет ни заря, таскать не станут...»

И сбился Писляк, скомкал свою полную административного пыла речь, проямлил что-то по части текущих дел, забыв даже рассмотреть еще одно заявление, касающееся непосредственно этого чертова Вальки: недавний клиент, некто Терпаносьянец, жаловался, что на могильной табличке в наименовании отчества покойного родителя допущена художником описка – вместо

Сурёнович обозначено Сурёпович, что, как заявлял возмущенный клиент, нелепо и даже оскорбительно.

Однако совещание уже было распущено. Оставалось одно – без публичной проработки вклеить Валентину выговор в приказе и предупредить об увольнении, ежели подобный конфуз повторится.

«Ишь ты, лыбится, пьяная рожа! – негодовал Митрофан Сильвестрович. – Ну, ладно...»

Положив перед собою чистый лист бумаги, он уже готов был заняться сочинением грозного приказа, как вдруг его осенило.

Он вспомнил!

Беззвучно ахнув, дрожащим пальцем набрал номер прокуратуры и, когда оттуда отозвались, сказал приглушенным голосом:

– Але, але! Товаришч Баранников? По известному делу могу сообщить чрезвычайно важные сведения... Сейчас? Слушаюсь, товаришч Баранников. Лечу!

«Зловещий смысл вышесказанного»

Писляк показал следующее.

Вчера, то есть накануне убийства Мязина, часов в двенадцать дня, он совершенно нечаянно подслушал разговор, которому тогда как-то не придавал особого значения, а сейчас эти несколько подслушанных фраз, как ему кажется, приобретают зловещий и многозначительный смысл.

– Да, вот именно, зловещий! Посудите сами...

Проходя в означенное время по кладбищу мимо столярного цеха, где, между прочим, помещается также и мастерская художников, он, Писляк М. С, почувствовал острый позыв. По той причине, что он второй год страдает запорами в мочевом канале и врачи рекомендуют, избавь бог, ни под каким видом насильственно не задерживать мочу, а опрастываться немедленно, где захватит позыв, он, Писляк М. С, свернул с дорожки и, схоронившись за густым ельничком, занялся своим делом.

– Так вот, знаете ли, – рассказывал Митрофан Сильвестрович, – стою я этак за елочками, вижу – выходят из столярки двое: Мухаметжанов, художником у меня работает, и Чунихин Николай, Олимпиады Трифоновны сынок непутевый. Это, надо вам сказать, друзья неразливные, ужасные оба выпивóшки и сквернословы. И хотя особо сурьезного ни за тем, ни за другим не замечено, но по пятнадцать-то суток на почве алкогольной выпивки оба уже не раз отсиживали...

Нуте, вышли.

И вот, представьте себе, товаришч Баранников, какая наглость! Не зачем-нибудь такое вышли, а исключительно для распития поллитровки! Будучи возмущен до глубины души, я, тем не менее, не в состоянии был прервать подобное вопиющее безобразие, потому что как раз в этот момент ощутил поступление из канала мочи, каковую ежели бы остановить, то тем самым нанес бы ущерб собственному здоровью, – вы понимаете меня?

Таким образом, они преспокойно в моем присутствии выдули пол-литра «зубровки», после чего, собственно, между ними и произошел тот разговор, о котором хотел бы сообщить... Я запомнил и приведу вам его в исключительной документальной точности. Словечко в словечко. Со стороны Мухаметжанова это было сперва не более как регаж на закуску.

– Как, простите? – недоумевающе спросил Виктор. – Регаж на что?

– На закуску. Поскольку таковая представляла собой не что иное, как обыкновенную репчатую луковичку, он сказал, что луку не употребляет, и сплюнул, после чего утерся рукавом и еще сказал: «Вот черт, и закусить нечем!» На что Чунихин отвечал: «Ничего, Валюня! Вот, бог даст, *нынче* в *ночь обломаем то дельце* – богаты, брат, будем, ух!»

До вас, товаришч, доходит зловещий смысл вышесказанных слов?

Еще бы не доходил!

«В ночь... В ночь!» В ту самую ночь, когда был убит несчастный Мязин и подожжен его дом... В ту самую, когда Николай Чунихин, сказавшись уехавшим на Верхнюю Пристань, на самом-то деле там и не был вовсе! В ту самую ночь, когда Некто, Икс, вылезал из окна мязинского дома!

– Продолжайте, продолжайте! – не отрывая пера от бумаги, торопил Баранников. – Ах, как же это вы, Митрофан Сильвестрович, раньше-то не вспомнили! Дальше-то что? Дальше?

– Да вот, представьте себе! – Писляк сокрушенно помотал головой. – Так вот, дальше.

Дальше Валька этот Мухаметжанов засмеялся и сказал: «Ты, Колька, герой, чистый Синбад!» Тот, знаете ли, в ответ заржал как стоялый жеребец. «Со мной, – говорит, – Валюня, не пропадешь... Ты, – говорит, – только карбас к месту пригони, а уж я всю эту петрушку за полчаса обделаю!» – «В какое время? – спрашивает Мухаметжанов. – Часам к десяти?» – «Да ты что – одурел? – это Чунихин ему. – Такие, браток, дела раньше полночи не делаются... С чего это ради на глаза попадаться? Тут, Валюня, дельце деликатное...»

Нуте, засим они попросились и разошлись. Я ведь что тогда помыслил? Определенно, мол, чей-то чулан замышляют обчистить, варнаки! Да это у нас, знаете ли, бытовое, так сказать, явление, что вот так залезут в чулан или в погреб, окорочок тиснут или самогонку... ну или прочее что-нибудь там, несущественное, по мелочи... Подобное в данной чалдонской дикости и за преступление не считается – так, вроде озорства, что ли. Но вот час назад вспомнил я этот разговорчик и, верите ли, прямо-таки ахнул. Слово-то какое одно было сказано – заметили? «Богаты будем!» Богаты! Тут, товарищ Баранников, дело не окорочком пахнет... Как вы на сей счет соображаете?

Баранниковское перо стремительно, чуть ли не высекая голубые искры, летало по бумаге.

Ножи сеньора Пазиелло

Итак, полдня растрчено... А толку?

В самом деле, мысль совершенно шалая! Фантазия, не больше. Почему он так в нее поверил? Ведь она ни на чем не основана, решительно ни на чем, ни из чего не вытекает. Ну, что представлял собою этот Яшка Мухаметжанов? Полуграмотный тип, не получивший никакой шлифовки, никакого воспитания, мелкий жулик, польстившийся на несколько ящиков вермишели в плохо запломбированном вагоне... А ведь Извалова неоднократно подтвердила, что Леснянский производил впечатление вполне образованного и культурного человека... Где бы Якову превратиться в такового, если даже он жив и здравствует, – при его-то наклонностях к водочке, при его страстишках?.. Один был ему определен его склонностями и свойствами путь – вниз, только вниз, по наклонной, но никак не вверх... Да и все прочее у этих двух людей, которых он так произвольно соединил, не имеет никакого сходства... Нет, надо эту дикую идею отбросить ко всем чертям, забыть и больше не вспоминать!

Но тогда – что же? Возвращаться? Ни с чем?

Стыдно... У него еще не было провалов.

Нет, каков талант этот Леснянский – все-таки надо признать! Так мастерски все обтяпать, мастерски смяться... Прямо бесплотный дух какой-то! Можно даже подумать – просто пригрезившееся Изваловой видение... Ну, где его, сатану, искать? Где оно в данный момент обретается, это видение? Страна огромна... В Петропавловске-на-Камчатке? У стен древнего Самарканда? В Торжке?

Так почему же все-таки Леснянскому понадобился адрес Елизаветы Петровны Мухаметжановой? Если он не бывший ее муж, может быть, пожелавший покончить с беспокойной своей жизнью бродячего авантюриста и на склоне лет вернуться под сень некогда родного дома, то по каким причинам мог он интересоваться местопребыванием немолодой, решительно ничем не примечательной, абсолютно заурядной женщины, не имеющей ни в каких городах родственников и знакомых? Что он хотел, Леснянский, запрашивая адрес Елизаветы Петровны? Вступить с ней в переписку? О чем? Разыскать ее лично? Открытка из кугуш-кабанского адресного бюро провалялась у него в кармане месяца два. Да уже прошло больше месяца, как покинул он

Извалову. За три с лишним месяца он не написал Мухаметжановой и не появился к ней. Что это означает? Что имевшиеся у него намерения отпали? Или он еще не собрался их осуществить? Когда же он соберется? Через месяц? А может быть, и через год?

Надо вот что: взять с Мухаметжановой подписку – немедленно заявить в милицию, если она получит какое-либо письмо или к ней придет человек, похожий на изваловского мужа...

На таком решении и остановился Костя, доедая политые соусом биточки за грязноватом пластиковым столом в кафе «Ландыш» на главной городской улице, в близком соседстве с недостроенным универмагом. Сквозь аквариумное стекло стен во всех подробностях был виден его серый сквозящий каркас, на котором, чтобы скрасить не слишком приглядный вид, алели полинявшие рекламные щиты. Они призывали «летать самолетами» Аэрофлота, проводить свои отпуска на курортах Черноморского побережья, копить деньги в сберегательных кассах. «Накопил – и машину купил!» – улыбался молодой человек безукоризненной наружности, одной рукой держась за «Волгу», а другой показывая прохожим сберегательную книжку.

До чего же шумное, бестолочное место было кафе «Ландыш»!

Точно поезд на стыках рельсов, взывая, непрерывно громыкала возле входных дверей электрическая кассовая машина, выпуская из своего чрева полуметровые, лилового цвета ленты с талонами на борщи и супы-рассольники, биточки и котлеты, компот и кофе.

Костя, войдя, даже не стал глядеть в меню, зная, что это совершенно излишне, что общественное питание давно уже доведено до полного совершенства и на всех параллелях и меридианах от Бреста и до Курильских островов можно встретить только один и тот же недлинный перечень неизменных блюд, абсолютно схожих своими вкусовыми качествами.

За столиками в потной тесноте, скученности галдела разномастная жующая публика. Во всех других кафе и столовых города в целях насаждения трезвенности продажа и распитие вина категорически и безоговорочно запрещались, «Ландыш» же представлял исключение из правил, сухой закон здесь не властвовал, толстая буфетчица за стойкой расторопно отмеряла по сто и по двести и как только ни пожелается, и потому посетители густо валили сюда в течение всего дня.

– ...чего ты свистишь? Я сам по телевизору смотрел: Численко второй забил! – спорили за Костиным столом двое парней, по виду – студенты.

В их спор врывались реплики соседей:

– ...а-а, говорю, ты, говорю, так? Ну, ладно, говорю...

– ...да ты его видал, знаешь этого деятеля: сам – во, рожа – по потребности...

Люди вставали, уходили, на смену им тут же усаживались другие, не дожидаясь, пока со столов уберут объедки и грязную посуду, опрокидывали свои сто или двести, кричали, розовели лицами, поспешно тыкали вилками в закуску, и к мельничному шуму говора прибавлялись новые голоса...

«Надо хоть что-нибудь отсюда захватить для Витьки, – подумал Костя. – Курячью ногу, что ли... У них там в буфете одни кислые сырки да жидкий кофе. Однако вцепился парень! Да ведь и дело-то!.. Кто же это вылезал через окно? Но почему шпингалеты были опущены? Если Мязин был убит этим Иксом, скрывшимся через окно, то кто же замкнул шпингалеты? Может, Витька прав – Келелейкин насчет шпингалет ошибается? Тьфу!» – мысленно даже плюнул Костя, останавливая свои рассуждения. Далась ему эта история с Мязиным! Как будто у него своих забот нету... Пусть Витька ломает голову. Поломать тут есть над чем. Хотя бы над этими шпингалетами... Ведь что выходит: что Мязин не был убит тем человеком, Иксом, если закрыл за ним окно и опустил шпингалеты... Опять шпингалеты! Тьфу, чтоб они пропали!

Позади, за Костиной спиной, разговор велся не совсем обычный. Как видно, там располагались цирковые артисты, – шатровое зданье цирка стояло неподалеку, и циркачи, репетирующие днем свои номера, случалось, тоже заходили сюда поесть. Сначала до Кости долетали обрывки фраз о Поддубном, потом что-то про Кио. Задев внимание своею музыкой, прозвучало имя какого-то Джованни Пазиелло.

Ах, нет, не какого-то... Вот он кто, оказывается, был: великий и неповторимый, глотатель огня, укротитель змей и многое, многое другое. Авторитетный голос с характерным грузинским горловым «ха» уверял, что теперь в цирке все донельзя измельчало, нечего смотреть, а сорок лет назад, когда гастролировал сеньор Пазиелло, у таких мастеров, как он, все было абсолютно чисто,

без малейшего обмана, каждый номер представлял настоящий, иногда даже смертельный риск для артиста и его помощников. Все тело сеньора Пазиелло было покрыто рубцами и шрамами.

Хрипловатый грузинский голос, наполовину русский, наполовину азиатский Кугуш-Кабан, на карте генеральной кружком отмеченный не всегда... Джованни Пазиелло и чалдонское «чо» вокруг... Просто невозможно было удержаться и не поглядеть, кто это нашелся в Кугуш-Кабане – с памятью о некогда великом и знаменитом сеньоре Пазиелло, ученике флорентийских чародеев и индийских йогов.

Костя обернулся, но первым увидел Вальку Мухаметжанова, кладбищенского художника, сына Елизаветы Петровны. Валька допивал компот, запрокидывая голову и вытряхивая в рот из стакана яблочные дольки. Рядом с ним, сосредоточенно и туповато вникая, сидел примерно таких же лет парень с прыщеватой шеей. За столом помещались еще двое, спинами к Косте. Это были явно циркачи, но не артисты, а обслуживающий персонал; один был даже в замызганной кирпично-рыжей куртке униформиста с черной тесьмой на воротнике.

Они заслоняли говорившего, из-за их голов торчали только края широкой коричневатой кепки. Чтобы увидеть его полностью, Косте пришлось отклониться в сторону.

У Вальки и прыщавого, как понял Костя, хотя они и поддерживали разговор, знакомства с остальными за столом не было, и присутствовали они случайно. Компанию же составляли цирковые униформисты и главенствовавший среди них довольно уже пожилой мужчина в поношенном пиджаке, обвисающем на узких плечах. От выреза воротника и едва ли не до самых глаз его чернела густая щетина, отросшая уже настолько, что ее без натяжек можно было считать бородой. На лице белели только полоска лба под козырьком фуражки, тонкий заостренный нос, да еще, резко контрастируя с чернотой бороды, голубовато, точно облупленные яйца, поблескивали белки крупных, выразительно-подвижных глаз.

На один только миг Костя и черный человек встретились взглядами, на один только короткий миг глаза черного человека задержались на Косте, но Костя уловил, что человек как-то странно вдруг осекся. Он как будто бы узнал Костю. И у Кости тоже мелькнуло такое чувство, что он уже видел когда-то бородатого, хотя было совершенно несомненно, что видит его впервые и никогда прежде этого человека не встречал.

Костя повернулся к своей тарелке, но тут же бросил еще один взгляд на задний стол. Ему показалось... Впрочем, он и сам не понял, что ему показалось, что это так воздушно, легкой, тут же истаявшей тенью скользнуло в подсознании...

Циркачи уже поднимались со своих мест. Загремели, взвизгнули по кафельному полу ножки отодвигаемых стульев.

Костя услышал, как за спиной, передвигая стулья еще раз, кто-то пробирается по направлению к нему.

В следующий миг он почувствовал на своем плече руку.

Черноликий, ласково, радостно и вместе с тем тревожно-неуверенно поблескивая голубоватыми белками, стоял возле.

– Прости, кацо, не сердись, дорогой... Меня Арчил зовут. Авалиани Арчил. Вот посмотрел на тебя, вижу – знакомый человек, в Грузьи встречал. А где встречал, когда встречал – не помню! Все равно, дорогой, давай руки пожмем... Вместе вспомним! Кто в Грузьи хоть раз бивал – все друзья! Так у нас в народе говорят... Ты речь грузинскую панымаишь?

Незнакомец улыбался, ласковый, радостный свет лился из его темных бархатных глаз. Теперь Косте можно было совсем хорошо и близко его рассмотреть. Нет, он никогда не встречал этого человека. Теперь он видел это еще точнее.

– Вы ошиблись. В Грузии я не бывал никогда.

– Почему ошибся? Я не ошибся! Разве я пьяный? Это ты, дорогой, ошибся! – садясь возле Костимого столика на свободный стул, горячо сказал Авалиани. – Ты вспомни, дорогой! Два года назад в одном ресторане мы были. Музыка играла, ты так сидел, я так сидел... Я помню теперь, где было! В Сухуми это было! Ресторан «Абхазья»!..

– В жизни не бывал в таком ресторане! – улыбнулся Костя.

– Я не пьяный, дорогой! Тогда тоже не был пьяный!

– Уверю вас, это так.

– Почему так? – сказал грузин расстроено. – Может, я забыл? Может, это другой был, не ты? Похожий? У тебя брат есть? Наверно, это брат твой был!

– И брата у меня нет.

– Как так? Почему?

Авалиани теперь был совершенно расстроен и огорчен.

– Плохо, плохо!.. – сказал он, покачивая головой. – Значит, я старый стал, забывать, путать стал... Ай-ай-ай! Где же ты живешь тогда, дорогой, где твой дом?

– Далеко, – усмехнулся Костя. Навязчивость незнакомца надо было уже как-то пресечь. Ну, обозначился, выяснил – и отходи, хватит трепать языком!

– Ростов? Баку?

– И не Ростов, и не Баку. В Саратове живу, – сказал Костя первое, что пришло на ум.

– Саратов? Где такой город – Саратов? А, Саратов! Большой город Саратов? Больше Боржоми?

– Откуда же мне знать? Ведь я в Боржоме не бывал.

– Есть цирк?

– Конечно, есть. Вы служите в цирке?

– Профессья! Совсем малшук был – ух, наездник лихой был! Руку ломал, ногу ломал... Постарше стал – других учил, другим помогал. Теперь старый стал – все равно при цирке служу. Жены нет, детей нет, дома нет – куда идти? Что делать?

– Я слышал, вы там про какого-то итальянца вспоминали...

– Пазиелло? О, великий артист был! Таких теперь артистов нет. За чистое золото не купишь! Па-зи-е-лло! – Авалиани даже прикрыл на секунду веки в благоговейном чувстве. – Его весь мир знал! Джованни Пазиелло! Ух, какой был мастер! Он малшук возьмет, на манеже к доске поставит, на тридцать шагов отойдет, вынет нож... вот такой нож, кинжаль! Р-раз! Как молния из тучи сверкнет! На два вершка в доску нож, вот так от уха, – приложил он к собственному уху грязный палец с сине-черным ногтем. – Стоит малшук, кругом весь ножами обтыкан, одежда прибита, сам живой-здоровый, капли крови, царапины нет! Скажи мне, ты видел теперь таких артистов? Приходи любой цирк, посмотри – разве это цирк? Для бабушек, для дедушек это! Вот тогда был цирк: смотришь – как на огне весь горишь! А теперь горишь, только когда на львов смотришь. Ты видел в нашем цирке львов?

– У вас даже львы есть?

– Львы! Пантера есть! Черная пантера! Приходи, не пожалеешь. Или ты занятой человек? У тебя много дел? Ты здесь по службе?

Кажется, Авалиани был намерен вести с Костей долгую беседу.

– В гостях, у тетки, – сказал Костя.

– Разве она тебя не любит?

– Почему не любит?

– А почему ты сюда пришел? Она тебе кушать не дает? Она у тебя плохая, тетя?

– Почему же? Хорошая. Она на работе днем, ей некогда готовить.

– Племянник приехал, а тетя на работе? Тетя выполняет план, а племянник ходит голодный? Почему такие нравы, скажи мне, дорогой? Кому от них хорошо? Тете хорошо? Тебе хорошо? Для чего люди живут – для жизни или для плана? Посмотри, как у нас, в Грузии: родной человек в гости приехал – барашка рэжут, лаваш пекут, вся семья, все соседи, знакомые три дня вино пьют, танцуют, песни поют... Вот как у нас, когда родной человек в гости приехал!

– Вот видишь, три дня. А я в гостях уже больше Тетка моя уже и попела, и поплясала...

– Все равно – нэ хорошо! Нэ хорошо, дорогой мой, нэ так надо!

Авалиани в азарте темпераментно взмахивал руками, лицо его было необыкновенно подвижно; удивление, досада, гнев, пафос, сочувствие, снова удивление, снова пафос сменялись в одну минуту по нескольку раз. Одно только не менялось, оставаясь все время при нем – то не понятное тревожное напряжение на самом дне его глаз, с которым он подошел к Косте и которое Костя почему-то заметил прежде всего, прежде улыбки, прежде радостного сияния лица, даже можно сказать и так – прежде его самого, Арчила Авалиани...

Что-то ему было от Кости надо, была у него какая-то своя цель, не случайно, не просто так вздумал он подойти... Костя вдруг ощутил это с несомненностью, в одну из секунд, в паузе между сменой выражений в лице и в глазах Авалиани поймав эту его внутреннюю тревожную

напряженность, не заслоненную в эту секунду ничем другим, ни с чем другим не смешанную и проступившую совсем отчетливо.

Он еще раз пошарил в своей памяти, пытаясь установить, приходилось ли когда-нибудь прежде встречаться с этим человеком, и снова ответил себе – нет, никогда, несмотря на стойкое ощущение, что цирковой служитель ему каким-то образом, почему-то все-таки знаком...

– Погулять приехал – значит, гулять надо, развлекаться надо! – убежденно, запальчиво сказал Авалиани. – Почему так скучно гуляешь? Ресторан идти надо, девочек пригласить. А ты в кафе сидишь, котлеты, панымаишь, за тридцать копеек ешь! Компот пьешь! Вино пить надо!

Какой-то посетитель, держа в одной руке тарелку с макаронами, а в другой стакан кофе, приблизился к столику, оглянулся по сторонам, – все места вокруг были заняты, хмуро спросил у Костимого собеседника:

– Вы что, поели уже?

– А что такое, дорогой? – резко вздернул голову Авалиани.

– Место занимаете, вот что. Если поели, так...

– Какое тебе дело, послушай! – взорвался Авалиани. – Что ты тут порядки наводишь? Я друга встретил, ты панымаишь – друга! Иди, иди, пожалуйста, туда, – махнул он рукой в сторону. – Там есть место, садись там, ешь свои макароны, не мешай нам с другом говорить! Какой народ, панымаишь ли! – возмущенно сказал Авалиани, провожая гневным, пылающим взглядом парня с макаронами. – На Кавказе пришел в кафе – сиди, говори, пожалуйста, хоть целый день говори, никто тебе слова не скажет... Настроения тебе не испортит... А тут, панымаишь!.. Пойдем, дорогой, отсюда, – сказал он Косте, как будто они действительно были друзьями, давно не виделись и вот наконец состоялась их встреча. – Пойдем в ресторан! В «Тайгу»! Посидим, поговорим по душам, совсем как в Грузии. Ты не смотри на мой пиджак, на брюки мои... Я могу другие надеть. Платить я буду, ты моим гостем будешь!

– Арчил, время! – нетерпеливо окликнули из дверей. Приятели его, оказывается, не ушли, покуривали наружи.

Вся фигура Авалиани вмиг приняла страшно скорбное выражение.

– Панымаишь – работа ждет! – сказал он Косте удрученно. – Забыл, панымаишь! Приходи сегодня в цирк, дорогой. Посмотришь представление, дрессированных львов посмотришь... Ай-ай-ай! Какие львы! Из Германской республики! Билет не покупай, я тебя встречу, на место посажу. Хорошее место будет, доволен будешь. Приводи свою тетю, ее посажу. Я все могу! Арчил Авалиани все может! Приходи, дорогой, очень тебя прошу! Потом вина выпьем, поговорим. Тебе интересно будет. Мне интересно будет. Всем интересно будет! Я тебе свою жизнь расскажу. Такой жизни ни у кого больше нет. Никто тебе не расскажет!

– Когда там у вас начало, в полвосьмого, что ль? – вытирая бумажной салфеткой губы, спросил Костя.

Он уже знал по опыту, что к инстинкту следует относиться с доверием. А инстинкт подсказывал, что надо, обязательно надо принять приглашение этого десять минут назад возникшего перед ним незнакомца. Что-то оно обещает, что-то оно обещает!..

– В семь тридцать, дорогой, в семь тридцать. Приходи непременно. Я буду ждать!

«Вразуми, мати-владычица!»

Часом позже оперуполномоченный Ерыкалов вводил в кабинет Баранникова гражданина Мухаметжанова Валентина Яковлевича, тысяча девятьсот сорокового года рождения, беспартийного, холостого, служащего в качестве художника-плакатиста при Кугуш-Кабанском городском кладбище.

А еще через полтора часа, то есть около пяти пополудни, потный, бледный, с выражением плохо скрываемого отчаяния на красивом байроническом лице гражданин Мухаметжанов Валентин Яковлевич стучался в плотно прикрытый ставень Олимпиадиного дома.

Он стучался не с улицы, а со двора, куда проник через малую, зажатую между сараями калиточку, что вела на огород.

Ему не сразу открыли. В этом доме никому не открывали сразу. Тут существовали условные тайные стуки, подглядывание в ставенные щели – что за человек пожаловал, длительные переговоры через запертую дверь, прежде чем хозяйка решалась отодвинуть тяжелый дубовый засов такой несокрушимой крепости, что хоть бы и на конюшню – так впору.

– Колька не вернулся? – спросил Валентин, едва переступив порог Олимпиадина жилища.

– Колька-то? – насторожилась старуха. Она стояла в дверях полутемных сенечек, загородив проход, видимо, не собираясь впускать нежданного гостя в горницы. – Нет, не ворочался будто... а чо?

– Погорели мы с ним, тетя Липа! Засыпались!

– Пошто на всю улицу зевашь, дурна голова! – прошипела Олимпиада. – Айда в горницу, кажи, чо стряслось-от? Прибыл откудова сим часом? Да ты сядь! Сядь! – прикрикнула она. – Затростил одно, право, ну – погорели, засыпались... Толком говори!

Властный окрик Олимпиады подействовал. И хотя лицо Валентина все еще кривилось от только что перенесенного потрясения, в нем уже явственно проступали черты некоторой осмысленности, и даже какая-то хитринка на мгновение мелькнула в узком разрезе беспокойно бегающих глаз.

– Да что, тетя Липа, – сказал он, покосившись на ярко, ало пылающие лампы перед черными древними иконами, – вы ж знаете...

– Не тяни! – скомандовала Олимпиада. – Говори разом: донес, чо ли, кто?

– Да нет, тетя Липа, никто не донес, тут другое вышло... Меня, тетя Липа, сейчас в прокуратуру к следователю тягали, спрашивали – где ночью были с Колькой...

– А ты чо? – вскрикнула Олимпиада.

– Да что... Я ему: нигде, мол, не были, Колька в Верхню Пристань уехал, а я дома спал. «А, – кричит, – на Верхню Пристань уехал? Дома спал? А это, – кричит, – что?» Да в рыло мне вот эдаку булыгу тычет. «Нам, – кричит, – все известно – какая у вас была забота! Не было Кольки ночью на Верху, вы с ним, – кричит, – вот этой булыгой дяденьку родного убили!»

– Оссподи! – Олимпиада так и села. Плотно сжатые губы приоткрылись. – Оссподи! Ироды проклятые! Все то бы вам души христианские терзать, все-то бы вам, ненасытным, людей пилатить! Коль пошло на то – жизни не пожалею, грех приму на себя великой, а не бывать поихому! Не отымете вы от меня чадунюшку мою, Миколушку мово ненаглядного! О-о-о! – в голос завопила старуха, валясь на колени перед черными, красновато озаренными иконами. – Вразуми, мати-владычина! Вразуми!

Так по-звериному страшна, так непривычно жалка была она в своем бабьем исступлении, в своем материнском горе, что даже робость охватила кладбищенского художника. Он кинулся было бежать, но грозный окрик «Стой!» настиг его у двери и словно гвоздем пришил к порогу.

– Стой! – подымаясь с колен, сказала Олимпиада. – Куда бежишь, дурашка? Слушай меня: ежели, борони бог, опять пытаться зачнут, запрись, на прежнем стой, говори: не знаю, не ведаю. Про то, где с Миколушкой были, – молчок. Под огнем, под секирой – отпирайся, слышишь? Благодарю тебя, мати-владычица небесная, что вразумила меня, неразумную!..

Истово, с просветленным лицом снова опустилась на колени. Трижды, касаясь лбом чисто выскобленных досок пола, поклонилась образам, а поднявшись на ноги, строго сказала Валентину:

– Иди!

Гелий Афанасьевич. Смущен. Напуган. Раздавлен

1

Он был неглупым человеком и мог очень верно оценивать всевозможные явления жизни. И, что вообще-то довольно редко случается, о самом себе судил точно, не закрывая глаза на

собственные недостатки и здраво разбираясь в тех сложных положениях, в которые иногда попадал.

Но тут произошло невероятное: смутился. Почувствовал растерянность, душевный беспорядок.

И как не терпел находиться в подобном состоянии, решил немедленно распутать запутанное и хладнокровно разобраться в некоторых неясностях.

С этой именно целью, выйдя от Баранникова, Гелий Афанасьевич направился в крохотный скверик, расположенный перед кокетливым голубеньким особнячком райотдела милиции, где также помещалась и прокуратура.

В скверике было тихо, безлюдно. Какой-то старик клевал носом над газетой, судя по толстой домовой книге, лежащей возле него на скамейке, дожидавшийся часов приема в паспортном столе, да тоненькая девочка с распущенными, как у Джоконды, волосами, дробно семеня лакированными ножками, катила по красноватому песку вихлястую колясочку, в которой мирно посапывал розовый, круглощекий гражданин будущего.

Старик не задержал внимания, но колясочка раздражила. Напомнила о детях вообще. О сыне – в частности. О первенце, рыжем, как пламя, Никите, с которым – одни неприятности.

Начать с этого имени... Нарекали – казалось звучно, значительно...

Далее: кричал два года, не закрывая рта. Бессонные ночи замучили, приходилось от рева убегать из дому куда глаза глядят, часто даже до самого утра. Отсюда – всяческие домашние сцены, истерики, угрозы жены Капитолины пожаловаться в райком, разоблачить...

Темная дурища Капка! Ах, как он опростоволосился с этой женьбой!

Но кто же знал, помилуйте, что милейший тестюшка с таким треском полетит с предгорисполкомовского кресла!

Хотя, ежели рассудить здраво, – должен был знать. Просто недостаточно изучил всё касающееся Капкиного родителя.

Джоконда с колясочкой просеменила мимо.

Гелий Афанасьевич остался в желанном одиночестве.

2

Известие об ужасной гибели отца встревожило Мязина-младшего, навело на мрачные мысли. Не то чтоб сыновняя скорбь или подобное малодушие охватили его (хотя, конечно, какая-то искорка чувства и мелькнула), но главным образом смутила иная сторона дела: уголовная. Он, как неглупый человек, предвидел, что следствие неминуемо заинтересуется им, его личной жизнью, его отношениями с покойным папашей. И эта заинтересованность посторонних, наделенных юридической властью лиц его, Гелия Афанасьевича, интимными делами огорчала и сулила многие беспокойства.

Пользуясь тем, что Капитолина, подавленная ужасными событиями ночи, как бы парализованная ими, не обращает на него внимания, он принялся было обстоятельно обдумывать свое поведение, свою, так сказать, роль в хитром переплете надвигающегося расследования.

Подозреваема будет вся родня, в том числе и он. Это несомненно. Несомненно также и то, что все Мязины станут валить друг на друга. И в первую очередь, разумеется, на него.

Поэтому, не теряя времени, надлежит...

3

И вот в это-то самое время, когда действительно надлежало пораскинуть мозгами, в доме появляется молодой человек, который, несмотря на свой веселенький штатский костюмчик, отрекомендовывается тем не менее младшим лейтенантом милиции Серовым или Перовым – Гелий точно не разобрал.

Спокойно и сочувственно он рассказывает о том крайне опасном и нежелательном положении, в каком оказался тринадцатилетний Никита: вовлеченный в воровскую шайку, он дважды уже участвовал в «деле», пока еще только «стоя на стреме», как говорится, но...

За этим «но» следует получасовая беседа. Обязанность лейтенанта Серова или Перова – предупредить отца. Подчеркнуть, что вся полнота ответственности за ребенка ложится на плечи родителей.

После чего, в сознании отлично выполненного служебного долга, младший лейтенант откланивается.

Гелий с ужасом представил себе, что может натворить Никита и как все это отразится на нем самом, на Гелии Афанасьевиче Мязине.

Первым побуждением было разыскать Никиту и выдрать его ремнем. Но рыжий дьяволенок словно сквозь землю провалился.

Гелий махнул рукой: черт с ним! Сейчас надо было, опережая события, спешить в прокуратуру и кое о чем предупредить следственных работников. Пролить, так сказать, свет на создавшееся сложное положение. Говоря проще – застраховать себя от возможных наветов дражайших тетушек.

Сейчас главное – спокойствие. Выдержка.

Одеться тщательно. Опрыскать прическу дорогим одеколоном. Повязать элегантный галстук. Войти с достоинством. Показать себя.

Все совершенно, как намечалось.

Был. Показал.

И что же?

Душевный беспорядок наличествовал, сумятица чувств не проходила. В этом надо признаться себе со всей категоричностью.

Джоконде надоело катать колясочку. Она присела рядом со стариком. И тотчас гражданин будущего издал вопль. Старик вздрогнул, взглянул на часы и, аккуратно завернув домовую книгу в газету, заковылял к выходу

Гелий проводил его взглядом. На светлом фоне голубенького особнячка согбенная фигура старика казалась вырезанной из черной бумаги.

4

Глядел в спину старику.

Чернея поднятыми острыми плечами, она уплывала, уплывала...

Переплыла через улицу и исчезла в дверях райотдела.

С этого момента взгляд Гелия Афанасьевича почему-то не отрывался от голубого особнячка.

Туда входили. Оттуда выходили.

Вот синий мотоцикл с красной полосой на блестящей каретке остановился у подъезда.

Вот широко распахнулись ворота. Завывая сиреной, на улицу вылетела закрытая милицейская машина и на бешеной скорости помчалась куда-то, оставляя за собой, словно зловещая комета, хвост удаляющегося воя и тревожных предчувствий...

Вот два милиционера вышли – удивительно одинаковые, оба с папками в руках, и, поговорив с минутой, разошлись в разные стороны.

Вот пожилая женщина с авоськой вошла.

Вот – другая, видимо, тоже не первой молодости, но помоложе, молодящаяся: ярко-гнедые волосы, виляющий зад, элегантная сумка на длинном ремне через плечо с надписью «АВИА»...

Капитолина!

Ее волосы, ее зад, ее сумка...

Вызывающе постукивая каблучками, она впорхнула в подъезд райотдела.

Боже ты мой!

5

Боже ты мой, как завертелись мысли!

Жупелами маячили в воображении тетки, дед Илья, Писляк. Даже Колька. Даже блаженный Евгений Алексеич.

Но Капитолина!

Этого он не ожидал.

Привык ее вовсе не замечать, как любую домашнюю мелочь – старый диван, угольную лампочку в прихожей, запах пригоревшего молока... Раздражала лишь ее пустота, ее тупость, ее безграмотность, ее пристрастие к постоянному перекрашиванию волос: они у нее то льняные, то гуталиново-черные, то, вот как сейчас, гнедые.

Никогда не задумывался – кто она ему: друг или враг? И ежели он поскользнется на смертельной круче – поддержит или столкнет в бездну?

Сейчас лишь только отчетливо уразумел: столкнет!

И ярко, словно подслушивая из-за двери, представил себе, что происходит сию минуту там, у этого следователя с бешеными глазами: какие вопросы подкидывает он Капитолине и что она отвечает...

Отчего, например, поссорился с отцом.

Причины, заставившие его, Гелия Мязина, лишиться директорского места.

Кое-какие интимные детали из личной жизни.

И то, что вчера не ночевал дома... что пришел уже близко к рассвету!

Это последнее тем ужасней, что он-то, Гелий, каких-нибудь полтора часа назад в разговоре с Баранниковым утверждал совершенно обратное: посидели с Гнедичем в «Тайге» и – домой, баюшки!

А Капка-дурища брякнет: не ночевал.

«Следовательно, – заключит Баранников, – младший Мязин зачем-то скрывает место истинного своего ночного пребывания...»

От двенадцати до двух!

То есть именно в то время, когда кокнули папашу!

«Следовательно, – подумает Баранников, – следовательно...»

Черт!

Какого же дьявола прохлаждается он тут, в этом зачуханном скверике, когда надо спешить. Спешить! Предупредить Гнедича. Ведь ясно же, что, поскольку в разговоре со следователем ссылался на него, так и Пашку потянут, факт! А он, поди, еще не опомнился от вчерашнего-то, еще дрыхнет, поди... Этакий чего только не наплетет с похмелья!

Скорее! Скорее!

Спасительный зеленый огонек вынырнул из-за сквера. Скрежетнув тормозами, машина остановилась.

– На Миллионную! – скомандовал Гелий таксисту.

6

Павел Гнедич жил чудаковато.

Товароведение, которое он преподавал в техникуме, было прескучнейшей и прозаической наукой.

Но он писал стихи.

Не то чтобы вдохновение накатывало вдруг на него и он, будучи не в силах противоборствовать ему, воспламенившись, издавал стихотворный вопль, – нет! Он просто с маниакальным упорством ежедневно сочинял двадцать – тридцать строк немислимой рифмованной чепухи.

У него спрашивали приятели, для чего тратит попусту время на сочинение глупых стишат. Гнедич совершенно серьезно отвечал:

– Освежает.

Дожив без малого до пятидесяти, он так и не удосужился жениться. Отношение его к женщинам являлось предметом веселых обсуждений. Считалось, что он еще хранит невинность. Когда его спрашивали об этом, он краснел, смущался и бормотал абракадабру вроде:

– Известно ль вам, что в Абиссинии мужи черны, а бабы синие?

Или еще что-нибудь из только что сочиненного.

Он жил на улице с допотопными домиками и допотопным названием: Миллионная. Это, кажется, была единственная в Кугуш-Кабане не переименованная улица.

Его хозяйством руководила старушка Власьева. Сорок лет тому назад она была его нянькой, утирала ему нос, водила за ручку маленького Павлика гулять. Теперь Власьева от старости трясла головой и готовила Гнедичу кошмарные обеды.

При всем при том он был пьяница. И когда напивался, то на ногах пребывал довольно крепко, но в поясице, по причине своего необыкновенно длинного роста, ломался, как складной метр. И мог даже упасть.

Такое сокровище!

И уж, разумеется, будучи допрошен следователем, не задумываясь, бухнет ему чистую правду – где именно находился его друг Гелий Мязин между двенадцатью и двумя часами ночи...

Скорее! Скорее!

Вот пестрый базар... Вот дряхлая громада древних соляных амбаров... Вот мост через быструю Кугушу... Вот замелькали заречные домики с мезонинами, с голубятнями...

Вот наконец и Миллионная!

Черный от времени дом с полуосыпавшейся резьбою деревянных кружев.

Власьева с трясущейся головой. Смотрит в узенькую щелочку приотворенной двери:

– Чевой-то? Дак нету его, Паши-то... Ушел, слышь, Паша. Еще давеча ушел... Чевой-то? Куда ушел? Дак бо знат. За им это, как ее... милица приходила. В милицу, однако, ушел...

7

«Конец! – думал Гелий – Конец... Теперь все откроется...»

Он стоял на мосту, облокотившись о перила, тупо глядел на мутную рыжую воду реки. Ключья пены, древесную дребедень – щепу, корье, гнилую труху – крутило внизу у мостовых быков. Бешеное течение швыряло весь этот мусор, затыгивало в воронки водоворотов, норовило утопить...

«Теперь карьеру мою можно считать оконченной, – продолжал свои невеселые размышления Гелий Афанасьевич. – Что ж, что та история осталась недоказанной: следственные органы, ежели возьмутся, докажут...»

Ах, как неприятно иметь дело со следственными органами!

В каком бы кругу ни вращался Гелий Афанасьевич (за исключением домашнего), он всюду производил впечатление человека обаятельнейшего: красив, интеллигентен, образован, талантлив. Полная достоинства осанка, элегантная одежда, выразительные, чуточку мечтательные глаза, бархатистый баритон, соболиные брови взлетят...

А этому черту, Баранникову, с его сумасшедшим взглядом – на все наплевать. Ни на осанку, ни на интеллект, ни на бархатный баритон не поглядит: подберет матерьяльчик – и раздавит.

Как букашку. Как червячка.

Кипела внизу мутная Кугуша. На мосту, на обоих берегах жизнь кипела. С грохотом, с ревом проносились мимо тяжелые грузовики. Пронзительно свистел крохотный паровичок узкоколейки. Стрелы башенных кранов чертили на синем небе невидимые полукружности. Позванивали сигнальными звончками.

Словно в последний раз, Гелий окинул пустым взглядом всю эту беспокойную береговую жизнь, тяжело, прерывисто вздохнул и медленно, непривычно сутулясь, побрел домой.

8

А там ждала его повестка из прокуратуры: к семнадцати ноль-ноль явиться в комнату номер шесть. Он поглядел на часы. Времени оставалось в обрез.

Алиби Мязина-младшего

– Вы умный человек, Гелий Афанасьевич, – ласково сказал Баранников, – и я думаю, что нам с вами не придется разыгрывать нелепую и скучную комедию заперательства, отнекивания и тому подобное...

Гелий сидел свободно, непринужденно. Положив локоть на край стола, небрежно поигрывал толстым и вертким, как змея, спиральным жгутом телефонного провода.

Как это ни странно, но, переступив порог комнаты номер шесть, он неожиданно ощутил в себе прилив бодрости, почувствовал прежнюю самоуверенность, могучую волю к противоборству.

Всю дорогу от дома до прокуратуры в его воображении вертелась желтая мутная волна Кугуши, отчаянно кружащаяся в буйных водоворотах щепа. Но что-то такое было в этом видении, что-то такое таилось в темной глубине его смысла, что в общей картине хаоса и гибели являлось вдруг как бы надеждой на спасение, намеком на благополучный исход неприятного и даже опасного дела.

Обреченность мусора была лишь кажущейся. А на самом-то деле весь этот речной хлам прочно держался на пенистой поверхности потока. Он был непотопляем.

Но ведь мусор же!

Ах, оставьте, пожалуйста, эту глубокую философию на мелких местах!

Подумаешь – мусор...

Вот он сидит, исполненный прежнего достоинства, изящно поигрывает телефонным проводом. Вежливо наклонив тщательно причесанную голову, слушает баранниковские сентенции.

– Тут, Гелий Афанасьевич, очень многое говорит против вас... Да что там – многое, – Виктор пожал плечами, – всё!

– Например? – Улыбка Гелия тонка и неуловима, как мгновенный отсвет зарницы на дневном небе.

– Ах, вы хотите дискутировать? Ну, что ж, давайте. Но учтите, Гелий Афанасьевич, нам известно о вас гораздо больше, чем вы предполагаете.

– Зарплату вы, разумеется, получаете не даром, – вежливо заметил Гелий. – А все-таки?

– Например, довольно грязное дело о взятках, которые вы брали с абитуриентов.

– Это клевета!

– Клевета, говорите?

– Ну да. Афанасий Трифонович любил разыгрывать из себя этакого принципиального ортодокса. Мне, дескать, все равно – сын не сын, борюсь за правду. А взятки-то, между прочим, не доказаны.

– Ну, как сказать, – прищурился Виктор. – С директорской должности вас сняли совсем не случайно.

– Допустим. Но какое это имеет отношение?..

– Это имеет прямое отношение к вашей характеристике, – сказал Баранников.

– Ах, вон что!

– И, главное, возвращает нас к вопросу о ваших взаимоотношениях с отцом. Ведь именно он разоблачил ваше взяточничество... Ведь именно после этой скандальной истории, в которой вам, к сожалению, удалось отделаться легким испугом, вы и порвали отношения с отцом. Наконец, он не молчал и о вашем возмутительном, недостойном поведении в семье...

– Это вам моя благоверная начирикала?

– Не только она.

– Бабы сплетни.

– В самом деле? – Баранников иронически улыбнулся, помедлил немного и вдруг пронзил Гелия пристальным взглядом. – Зачем вы мне солгали?

– То есть? – кротко осведомился Гелий.

– Будто после ресторана пошли домой. Где вы находились в двенадцать ночи?

– М-м... – запнулся Гелий. – В частном доме...

Ловкая, сильная фигура Гелия, его отличное знакомство с отцовским домом, с его дверными и оконными запорами... Постоянные ссоры с отцом, желание избавиться от беспощадного, вечно наблюдающего за ним отцовского ока... Он, он вылезал ночью из окна мязинского дома! «Сказать ему об этом? – подумал Баранников. – Если действительно вылезал он – это его расколет... Вместо длинных кривых дорог – предельно прямая и коротенькая тропка!»

– В частном доме, говорите? – Баранников откинулся на спинку стула. – Так-так-так... Но вот скажите, что заставило вас этот «частный дом» покинуть через окошко?

– Как?! – вздрогнул Гелий. – Каким образом... вы...

Баранников затрепетал от восторга.

– Да вот, представьте себе! – воскликнул он.

Младший Мязин молчал, нервно комкая телефонный провод.

– Оставьте в покое провод, – жестко сказал Баранников. – Рассказывайте все как было.

– Я... – смущенно пробормотал Гелий. – Я... вылез в окно... чтобы не разбудить домашних...

– Каких домашних? В доме находился один только Афанасий Трифонович...

– Ка-ак?! – изумленно привскочил Гелий.

– Да вот так. В доме в это время был только ваш отец.

– Ха-ха-ха-ха! – истерически расхохотался Гелий.

Баранников налил в стакан воды и придвинул его к Гелию.

– Успокойтесь. Возьмите себя в руки.

Гелий продолжал хохотать.

– Послушайте, – сказал Баранников.

– Да, да... простите... – стараясь сдержаться, пробормотал младший Мязин. – Вон вы, оказывается, куда гнете!

– Что значит – гнете? – строго сказал Баранников.

– Так из папашиного окошка, значит, тоже ночью кто-то вылезал? – отирая выступившие слезы, спросил Гелий.

– Бросьте валять дурака, гражданин Мязин! – раздраженно крикнул Баранников.

– Нет... Это уж вы... бросьте!

– Но ведь вы же сами показали, что вылезли из окна!

– Ну, вылез... Да только не из того, какое вас интересует. Из другого. И не в то время. Не в двенадцать. В двенадцать я только влез к ней.

– К кому – к ней?

– Ну к кому? К Нинке. Разве вам Гнедич не сказал? Вы же его допрашивали. Расставшись с ним после ресторана, я сразу пошел к Нинке. Раз вы вон куда загибаете, так мне, сами понимаете, выгоднее начистоту. Это ведь алиби. Да еще какое! Вы ее спросите, она подтвердит. Не из застенчивых.

– Ну, Гелий Афанасьевич, вы же и циник! – после длительной паузы сказал Баранников.

– А что прикажете делать, – пожал плечами младший Мязин, – когда вы хотите мне пришить убийство?

– Н-да... резонно, – сказал Баранников. – Между прочим, не мешало бы вам о сыне подумать. О Никите.

Гелий откровенно засмеялся.

– Судя по всему, – сказал он, – думать о нем в самом недалеком будущем придется не мне, а вам.

– Колоритная вы, однако, личность! – почти любуясь Гелием, воскликнул Баранников.

– Мерси за комплимент, – изысканно-учтиво поклонился Гелий. – Я могу быть свободным?

– Да... пожалуйста, – как-то нехотя, почти огорченно сказал Баранников.

– Ауфвидерзеен!

Выйдя в коридор, младший Мязин закурил.

В общем-то все складывалось довольно коряво. Убийство отца. Семейные дразги. Шалопай Никитка.

Эта коровища Нинка вчера преподнесла сюрприз: беременна! Этого только не хватало...

Карьера его в Кугуш-Кабане явно закончена. Факт.

«Ну, спасибо Афанасию Трифоновичу, – раздраженно подумал Гелий. – И после смерти ухитрится пакостить... А впрочем... может быть, все к лучшему? Махну-ка я ко всем чертям из этой дыры! Мир велик, и не такой человек Гелий Мязин, чтобы вот так признать свой проигрыш... Мы еще увидим небо в алмазах!» – ухмыльнулся он и бодро зашагал по тускло освещенному коридору.

Страничка из семейной хроники

Ее было не узнать.

Куда девалась та деревянная непроницаемость, та неподвижность словно на древнем идоле грубо высеченных суровых черт лица, которые так отличали ее от всех и которые так поразили Баранникова.

Полуоткрытые губы, горящие темные глаза, прядь грязно-седых волос, выбившихся из-под черного монашеского платя...

Испуг, растерянность, человеческое, бабье страдание – во всем облике.

Она вскрикнула – и этот ее вопль был как жуткий, тоскливый крик ночной птицы в туманном мраке заболоченного леса.

– Он! – еще с порога крикнула Олимпиада. – Он порешил нашего Афанасьюшку! Он, проклята анафема! Он, и больше никто, как он!

Ее всю трясло. И до того страшно, черными уродливыми сучьями зимнего дуба простирались вверх и в стороны ее могучие руки, до того исступленны, дики были угловатые, резкие движения ее огромного костлявого тела, что Виктору на какое-то время даже не по себе сделалось. Он отшатнулся даже, привстав, с нескрываемым изумлением разглядывая эту странную женщину.

– Сядьте, Олимпиада Трифоновна, – сказал он наконец. – Сядьте, успокойтесь. Вы, кажется, имеете подозрение на кого-то?

– Пошто подозренье! – крикнула старуха. – Не подозренье, а прямо тебе все как на картах разложу... Пиши только!

– Так вы, – Баранников впился глазами в Олимпиаду, – вы знаете, кто убил?

– Но? – Олимпиада смело встретила его взгляд. – Кто убил! Илья убил-от. Так и пиши: Илья.

– Позвольте, позвольте... Мало сказать – убил, надо еще иметь доказательства.

– Злато! Злато! – воскликнула старуха. – Злато, соблазн дьявольский, богомерзкий! Тайник-от был у него. Царски лобанчики золоты замурованы в ём...

– Какие лобанчики? Какой тайник?

Виктор ничего не понимал. Эта зловещая баба с ее нелепой полумонашеской внешностью, с ее архаичными словесными завитушками производила на него впечатление какого-то чудом ожившего ископаемого.

– Про какое золото вы говорите?

– Дак про како́? Про то про са́мо, что еще в осьмнадцатом годе в доме, в печи, замуровал...

Что-то начинало проясняться. Туманный огонек смысла забрезжил в темных Олимпиадиных словах.

– Так давайте же, рассказывайте, – сказал Виктор.

– Как Советка власть стала, папенька наш третий годок уж как померши были. Маменька же, бог ей судья, тогда Ибрагимку Мухаметжанова, приказчика, до себя допустили. И было у них с дяденькой Ильей Николаичем ужасное борение, как дяденька Ибрагимку не желали признавать ни вот на столечко... И даже у них до рук, случалось, доходило. Однако, дело един дяденька вершили и все капиталы, всё как есть – на ихних руках было.

Пал тогда слух, что большаки нас разорять станут. Тут дяденька-то и замуровали золотишко. Чаяли, поди, сердешные, что они лишь про то знают, что ни одна жива душа не ведат, ан ошиблися! Я все видела.

Слушай, как вышло-то.

О ту пору мне уж двадцать третий годок пошел, уж я сосватана ходила. Последни деньки с родной мамушкой доживала. Так зреть же не могла, как это Ибрагимка с нею и как она ему все дозволят... Стыдобушка!..

Так я из горниц-то ночевать убежала коли на сеновал, коли в чулан, коли еще куда. Раз в кухню на печь забилась. Сплю – слышу: ровно постукиват подо мною чо-то – туп-туп! И свет, ровно, брезжит от свечки... Глянула тихохонько – батюшки! – дяденька ломиком печку долбат у самого припечья... Затаилась, гляжу. Вот угол разворотил, из мешка из коврова банку вынимат, жестянину... Тряхнул. И ровно леденцы в ей забренчали, право... «Эх, – молвит, – прощайте, дружки любезны!» Да с эдаким словом – в пролом-от в печной, банку-то... Глинкой притер место, мелком забелил. Перекрестил и ушел. Смекай теперь – чо в той банке гремело? Неуж леденцы?

– И вы никому тогда про это не рассказали? – спросил Баранников.

– Дак кому ж скажешь? Маменьке? Чтоб все ейному татару досталось?

– А брату, Афанасию Трифону? – спросил Баранников.

– Братец тогда уже в Армию в Красну подался. Кому ж говорить-то? Но слушай...

И Олимпиада рассказала, как вскоре Илью забрали в чека, как маменьку с Ибрагимкой, Антониной и еще грудным Яшкой власти выселили из дома во флигелек, в «хижку малую», где они и жили, пока маменька не померла. А за нею вскорости и Ибрагимка – от тифу...

– В доме сперва хлебну засыпку поместили, затем контора артельна стала... А как братец вернулся – ему власти дом-от в дар подарили за красно его за геройство... Тут дяденька из ссылки заявился. Так само мало время прошло – опять забрали. Да и после того раза три, как не боле... Почитай, что и не видали мы их в Кугуше-то...

– И золото, стало быть, так все время и лежало в тайнике? – спросил Виктор.

– Так и лежало. Он-то, дяденька, может, и рад бы его взять, да как возьмешь? Тайно тако дело не сделать, а явно – так братец воспрепятствует, все властям отдаст. Смекаю, давно на тайник дяденька зарился, да все неспособно было. А тут, как прослышал, что братец после смерти по духовной дом-от городу завещат, так и решился... Пошарь-ка сим часом в мурье-от евонной – ан самое там и золото...

– Почему же вы мне об этом утром ничего не сказали? – в упор глянул Баранников на старуху.

– Чо утром-то? – потупилась Олимпиада. – Да бо знат чо. Оробела, поди. Какой ни есть, дак ведь – дяденька... Своя кровь-от, мязинска...

Медленно, с расстановкой, не спуская глаз с Олимпиады, Баранников сказал:

– А сынок-то ваш нынче ночью на Верхней Пристани не был...

– Знаю, – спокойно кивнула Олимпиада. – Знаю, что не был. В Шарапове, бают, у девок гулял, гунька кабацка...

– Вон как! – с насмешливой доверчивостью сказал Баранников. – У девок, значит... Ну, хорошо, Олимпиада Трифоновна, спасибо. Можете идти.

Молча встала, молча в пояс поклонилась. И уже пошла было, но вдруг, обернувшись, сказала:

– Ежели у самого не отыщете, дак на острову глядите. У Таифки у монашки. Душенькой была когда-то дяденькиной...

«Черт знает что, беллетристика какая-то! – оставшись один, вяло подумал Баранников. – Как будто Мамина-Сибиряка читаешь...»

И вдруг почувствовал, что устал смертельно. Предыдущая бессонная ночь, проведенная на пожаре, затем бесконечный день с длинной вереницей людей, прошедших перед ним на допросах, – утомительно-пестрый калейдоскоп образов, характеров, пристальное разглядывание сокровенных движений человеческой души... Наконец, эта Олимпиада, это нелепое «чудище обло», с ее архаичными словесами, с какой-то полувопрошающей интонацией, со странным резким запахом, исходящим от ее одежды, – то ли кипариса, то ли ладана, и приторно-душистого масла... Все это словно липким дурманом окутало, обволокло утомленную голову Баранникова. Ему нестерпимо захотелось спать.

И он прилег на диван, думая, что на минутку, так только – чуть передохнуть. Сонная мысль мелькнула: хитрит, плетет старуха... Ведет в какие-то потайные, лукавые закоулки со своею семейною хроникой... Даже если тайник и правда, то почему бы ей самой...

Сон навалился мягко, ласково прижал к прохладной ледериновой обивке дивана.

И мысль осталась недодуманной.

Львы фрау Коплих

До чего же убого и жалко выглядел кугуш-кабанский цирк со своими щелявыми стенами из грубо струганных, кое-как крашенных досок, с грубо сколоченными скамьями, заплатам во многих местах шапито, вытертым, полyselым плюшем на креслах первого ряда и на барьере единственной ложи, предназначенной для сановных лиц... И как же густо, напористо, упоенно перла в него пахнущая пивом и подсолнуховыми семечками толпа: лесозаводские рабочие, сплавщики, матросы буксирных катеров, ремонтники из затона, шоферы таежных автотрасс – с женами, принаряженными празднично, в блестящие шелка, с деревенскими родичами в хлопчатобумажных полосатых пиджаках, с детьми, обсасывающими палочки эскимо, роняющими на свои костюмчики молочные капли тающего мороженого...

Оркестрик, затиснутый в фанерную раковину над выходом на манеж, был тоже жалкий: пианист за вдребезги разбитым, уже даже не звучащим, а издающим только стук пианино, два скрипача, горбатый трубач, юный парнишка-ударник с серебристыми антенными метелочками в руках, аккордеонистка – пышная брюнетка, зятая в черный атлас с блестками... Им было уже невмочь от духоты, они обмахивались, вытирали платочками лбы и лысины; аккордеонистка, загородившись лаково-черным, сверкающим, с белыми пианинными клавишами аккордеоном, несколько раз украдкой вытерла платком свои подмышки...

Но грянули они резво, оглушительно-бравурно; с мужской энергичностью рванула черноокая красавица брюнетка мехи своего полыхающего молниями световых отражений аккордеона и зачатила по клавишам унизанными перстнями пальцами; пронзительно-победно прорезался из этого гама голос трубы. Мальчишка-ударник, скорчившись, затрясся в падучей над своими тарелками и барабанами, антенные метелочки заискрились, замелькали у него в руках...

Вспыхнул свет больших люстр, придавив людской гомон. Нарумяненный, с подкрашенными губами толстячок во фраке, крахмальной сорочке со стоячим воротничком и тугими картонными манжетами, в остроносых лакированных штиблетах, пускающих зеркальных зайчиков, заученно раскинул коротенькие, короткопалые ручки и, блестя золотом рта, жизнерадостно, с бодрым пафосом, выкрикнул сдавленно-высоким, декламационным голосом:

Друзья, вас всех обнять я рад!
Вы в этот час поры вечерней,
Свершивши план дневных работ,
Пришли к нам от станков фабричных,
Чтоб отдохнуть от всех забот.
Мы вас в волнение ожидали,
Мы любим вас уж много лет,
И вам от сердца посылаем
Наш артистический...

Толстячок еще шире простер руки, придав им дрожание, что должно было выразить предельную степень его пафоса, эмоционального накала.

– ...привет! – гаркнул чей-то бас из последнего ряда, заглушив декламатора и сорвав ему эффект.

Но цирковой оркестр поправил дело: тут же обрушил на головы публики бешеный галоп. Из-за кулис, размахнув надвое занавес, выскочили, колесами выкатились акробаты в голубых трико (только через минуту Костя сосчитал, что их пятеро, а в первый миг показалось, что их несметная куча) и стали как черти кувыряться, подбрасывать друг друга, и все это в таком сумасшедшем темпе, что просто не было возможности уследить, что за штуки они вытворяют.

– Во дают! Ну, гады, дают! – корчился рядом с Костей в самозабвенном восторге верзила плотогон в рабочей куртке и громадных резиновых сапогах с отворотами.

Акробаты, как видно, были в программе товар-люкс, потому их и выпустили первыми.

Дальше пошло жиже.

Но зато как они все старались!

Крашенная в блондинку, набеленная, с высиненными ресницами дама лет пятидесяти, с голыми плечами и спиной, открытой до самой талии, жеманничая, как юная девочка, беспрерывно рассылая на все стороны приторно-очаровательные улыбки и при этом старательно пряча одышку, пританцовывая, играла и на гармошках, и на дудочке-сопелочке, упавшей к ней из-под купола, и на автомобильных рожках, и на бутылках из-под шампанского, и на гитаре, которая вдруг огнем и дымом взорвалась у нее в руках и превратилась в обломки, однако, тоже музыкального свойства. На них, уже почти полностью выдохшись, она и исполнила заключительный мотивчик: «Кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!»

Низенький, почти без шеи, с проплешиной во все темя мужчина, с бугристой от мускулов грудью, оттопыренными ягодицами, туго обтянутыми трико, повиснув вниз головой на трапедии и зажав во рту зубник, один держал двух крупных, тяжеловесных гимнасток, на две головы выше его ростом. Гимнастки, вцепившись в шест, картинными движениями одновременно отводили в стороны то руки, то ноги, – ничего больше они не умели. Все равно публика хлопала им жарко, и когда они, откланявшись с приседаниями и описыванием отставленной ногою полукруга, убегали с арены, тот бодрый толстячок, что при начале посылал публике «артистический привет», загораживал им дорогу, и они возвращались и кланялись еще четыре или пять раз. А их запыхавшийся, блестящий от пота партнер делал за ними на арену только два или три шага с таким жестом, который надо было понимать так, что он целиком и полностью отдает успех номера своим высокоталантливым партнершам и просит публику благодарить только их.

Трое жонглеров, семья Христофоровых – отец, мать и хорошенькая девочка лет пятнадцати, – кидали в воздух яблоки и картошку, бутылки и шляпы, тарелки, кружки, ножи, мячи, обручи. Потом потух свет, в темноте вспыхнули факелы. Жонглеры стали перебрасываться факелами, подкидывая их под самый купол. Пламя зловеще гудело, по лицам скользили трепетные блики.

– Во дают! Во, гады! – стонал возле Кости плотогон, ерзая на скамейке.

А уж как старались клоуны! Один был в рыжем парике, другой – в зеленом. Их шутки были верные, испытанные временем. Они самоотверженно лупили друг друга по щекам, били по головам бамбуковой палкой, расщепленной на конце – чтоб громче был звук, длинными струями пускали из глаз водичку, спотыкались и падали, наступая на носки собственных башмаков.

– Ария Бизе из оперы Хозе! – кривляясь, объявлял Рыжий, доставая из кармана необъятных штанин крохотную губную гармошку.

– Я тоже хочу играть! – писклявым птичьим голосом кричал Зеленый, подскакивая и пытаюсь отнять гармошку. Рыжий прятал ее в рот. Так они повторяли несколько раз. Вдруг Рыжий делал перепуганное лицо и хватался за живот: он проглотил гармошку. Она звучала теперь у него внутри, двигаясь по кишкам. С вытаращенными глазами Рыжий перехватывал руками по телу. Наконец освобожденный звук гармошки раздавался из его штанов, сзади. С радостным лицом Рыжий запускал назад руку, вытаскивал гармошку и подносил ее к губам – продолжить «арию Бизе из оперы Хозе».

– Ну, паразиты, дают! – почти падал со скамейки охрипший плотогон. Цирк шумел сильнее, чем бор под ураганом. Задние ряды молотили в пол подковами добротных юфтовых сапог.

Однако все это было только прелюдией. Зрители ждали главного. Ожидание это росло, копилось, угадываясь как некое электричество, разлитое в массу жарких, сдавленных на скамьях человеческих тел.

– Мам, а когда ж львы? Львы когда ж? – в бессчетный раз спрашивал сзади Кости вконец истомившийся мальчуган.

Львов «выдали» зрителям только в третьем отделении. Перед этим над плюшевым занавесом, из-за которого появлялись на арене циркачи, растянули плакат, синими буквами по белому повторявший то множество плакатов, что висели на цирке снаружи и были расклеены по городу: «Гастроли артистов Германской Демократической Республики». «Артистов» – это было небольшое невинное преувеличение со стороны администрации: в программе имелась только одна артистка,

невесть почему попавшая в кугуш-кабанскую таежную даль, – укротительница фрау Коплих. Вполне возможно, что за «артистов» администрация кугуш-кабанского цирка считала также ее львов и шакалов.

Дюжина униформистов под команду облаченного во все кожаное, как бы закованного в броню немца проворно выстроила по окружности манежа сплошную металлическую сетку в два человеческих роста. Над решеткой на тросе подняли толстую сеть. Вышла громадная круглая клетка. Решетчатым туннельчиком ее соединили с закулисным помещением.

На скамьях среди зрителей шло нервное шевеление, заключавшее в себе две противоположности: возросшее до предела нетерпение и боязнь. Слесари из затона критически покачивали головами: клетка казалась им хлипкой, прутья тонки... Веревоочная сеть наверху вовсе не внушала никакого доверия.

А цирковая прислуга еще больше нагоняла страху: из проходов подтянули и нацелили на манеж пожарные шланги с горящими медью брандспойтами, снаружи клетки на барьере разложили длинные, сплошь металлические, заостренные багры...

Фрау Коплих, протиснувшись в клетку через железно лязгнувшую дверцу, даже как-то поначалу не заметили: уже минут пять, как за кулисами, в тех недрах, вход куда закрывала пунцовая занавеска, раздавались страшно низкие, отрывистые, рокочущие звуки, похожие на то, как будто бы кто-то неумелый дул в большую оркестровую трубу, и цирк всем своим вниманием был в этих трубных басовых раскатах, заставлявших многих чувствовать внутри себя неприятный щекочущий холодок.

Первой из зверей на арене появилась пантера. Она скользнула по туннелю непонятным стремительным черным сгустком и, только выскочив на середину арены, в свет юпитеров, превратилась в зверя. Укротительница скомандовала ей что-то повелительное, выстрелила в воздухе бичом, и пантера, подрагивая верхней губой, угрожающе косясь на фрау Коплих, нехотя, с недовольством пошла в сторону и грациозно вскочила на деревянную тумбу. Хвост ее просунулся сквозь прутья, сидевшие в первом ряду кугуш-кабанцы откачнулись назад и в стороны, как будто из клетки высунулся не хвост, а ядовитая змея.

– А она по-нашему понимает? – допытывался сзади любознательный мальчик, дождавшийся наконец своего зрелища.

– Я ведь тебе уже объясняла – эти звери из Германии, а в Германии говорят по-немецки, значит, она понимает только по-немецки, – рассудительно, педагогическим тоном отвечала мать.

– А почему по-нашему не понимает? – как будто ничего не слышав, снова допытывался любознательный мальчик.

Поджарые волки, рыжие лисы, выглядевшие меньше своих хвостов, мелко дрожащий от возбуждения шакал – все эти твари были основательно вышколены, знали порядок, свои места и, появляясь на арене, поспешно, под хлопанье бича, без путаницы занимали пестро раскрашенные тумбочки.

Оркестр, игравший попури из штраусовских вальсов, по знаку фрау Коплих замолк. Один только ударник частил своими метелочками по барабанам, заставляя их звучать так, как будто бы на них сыпалось пшено. Так он передавал торжественный драматизм минуты.

Фрау Коплих, рослая мосластая женщина с подвитыми локонами Лорелеи, в традиционной форме укротителей зверей – в голубой венгерке со шнурами, умопомрачительно элегантных бриджах, – мелькая блестящими сапожками с желтыми отворотами на жилистых икрах, быстро отступила с центра арены, со звуком пистолетного выстрела щелкнула бичом.

Тотчас же за кулисами подули в басовые трубы, и в туннельчике показались медленно ступающие львы.

Львица и лев прошли без задержек, а третий, самый крупный, с роскошной косматой гривой, встал на полпути и страшно, раздраженно зарычал, открывая пасть.

Фрау Коплих крикнула по-немецки что-то резкое, выстрелила бичом несколько раз подряд. Униформисты, просовывая сквозь прутья палки, подпихивали льва, чтобы он шел дальше, на арену. Но лев, упершись и словно бы не чувствуя тычков, не шел, сердито рычал, изворачивая огромную голову, скаля почти равные по величине бычьим рогам клыки.

Костя посмотрел по тому направлению, куда он посылал свой гневный рык и грозный оскал лычков, и за куртками униформистов, среди других служителей, наполнявших проход, различил черный лик Арчила Авалиани...

Князь Авалиани передает тете привет

– Что будем заказывать?

Официант, надменный парень с четким пробором в набриллиантиненных волосах, в форменной чесучовой куртке, с блокнотом и карандашом в руках, даже не взглянув в лица, опустил свой безразличный взгляд в какую-то точку на мятой, в пятнах соуса и пролитого вина скатерти и равнодушно ждал. Весь его вид говорил, что он презирает свою профессию, презирает посетителей настолько, что у него нет даже охоты на них глядеть, что ему решительно все равно, закажут ли они что-нибудь или уйдут так. Пожалуй, даже лучше, если уйдут, столики ресторанный зала останутся пустыми и ему не надо будет ничего делать...

Авалиани пошуршал многостраничной книжечкой меню, захватанной и растрепанной, как библиотечный экземпляр романа «И один в поле воин», откинул разочарованно в сторону.

– Сациви неси нам. Коньяк грузинский. Вино грузинское. Напариули, гурджаани... Сир давай – чанах. Шашлыки давай. Из молодого барашка! Хороший кусок пускай, со спины. Хлеба нам не давай, лаваш давай...

– Всё? – надменно спросил официант, даже не притронувшийся карандашом к блокноту.

– Пока все. Потом еще скажем.

– Вам надо было идти в «Арагви».

– Что такое – «Арагви»? Где это – «Арагви»

– В Москве, на улице Горького...

– Зачем такие шутки? – рассердился Авалиани. Глаза его полыхнули черным пламенем.

– Итак, что будем заказывать? – не вступая в полемику и полностью игнорируя гнев Авалиани, спросил официант – уже с совершенным безразличием. – Из горячих блюд имеются только консервированные голубцы. Грузинских вин не бывает. Есть плодово-ягодные и «Столичная». Хлеб, предупреждаю, вчерашний.

– А сир есть? Сир чанах?

– Сыр только пошехонский.

– Это называется ресторан? Смотри, какая толстая книжка, библия! – с гневом толкнул Авалиани ресторанный меню в твердом коленкором переплете. – Зачем она лежит? Зачем в ней так много написано?

Покипев еще с минуту, Авалиани приказал, чтобы подавали все подряд, что перечислил официант: водку, пошехонский сыр, голубцы, салаты из лука.

– Голубцы кончились, – отошел и тут же вернулся официант.

– Как это – кончились? – с совсем детским удивлением воскликнул Авалиани. – Кончились! Пускай приготовят еще!

– Кухня уже прекратила работу: поздно, скоро закрываем.

– Почему скоро? Десять часов еще! Дорогой мой, дзмобиля, почему ты ничего не говоришь этому бюрократу? – накинулся Авалиани на Костю. – Почему тут такие порядки? Кто придумал такие порядки?

– Можно колбасы нарезать, – сказал официант.

– Ты панымаишь, что ты говоришь? – ужаснулся Авалиани. – Мы пришли кушать! Мы хотим кушать! А ты – колбасы! Какая у тебя колбаса?

– Диетическая. Ди... абетическая, – поправился официант.

– Ты сумашедчий, дорогой! Мы не больные! – обиделся Авалиани. – Разве здесь поликлиника?

Презрительно-улыбчивая мина вновь возникла на сытой хамоватой морде официанта.

– Как хотите. Мое дело предложить...

– Мы артисты, дорогой! Ты, наверно, не видишь? Артистов так угощают? Ты нас обижаешь!

Четверть часа назад Авалиани и Костя пытались пробиться в «Тайгу». Туда их не пустили по причине отсутствия свободных мест. Авалиани долго бушевал у входа, долго переругивался со швейцаром сквозь стекло запертой изнутри двери. Кончилось безуспешно. Однако примириться с тем, что запланированная выпивка срывается, он не захотел и потащил Костю на вокзал, где ресторан открыт до полуночи и ничем, как он уверял, не хуже «Тайги».

Относительно последнего он бессовестно наврал, вокзальный ресторанчик был весьма непригляден: простиранные до дыр грязные скатерти, разнокалиберные стулья без чехлов, туалетная бумага на столах в стаканчиках – взамен салфеток... Во всю ширину зала тянулась громоздкая, массивная буфетная стойка, блестя гнутым стеклом, под которым томились на тарелочках раскисшие куски холодца, иссохшие, скрючившиеся хамсички, бутерброды с закаменелым сыром, который могли разжевать, пожалуй, разве что только лошадиные, но никак не человеческие зубы. На стенах зала, густо расписанных узорами «для красоты», как водится, для этой же самой «красоты» висели кошмарные копии шишкинских медвежат и левитановского «Омута».

Длинный, как железнодорожный семафор, дядя в очках, в сбившейся набок соломенной, какого-то невероятного фасона шляпе, вихляясь тощим телом, пытался любезничать с толстой буфетчицей. Переламываясь в пояснице – то падая грудью на прилавок, смешно при этом оттопыривая зад с выбившейся из-под пиджака рубашкой, то вдруг шатко выпрямляясь во весь свой семафорный рост, – он что-то обольстительное нашептывал грудастой желдорресторанной нимфе, но та сердито отмахивалась от его неумелых, пьяных комплиментов. Несколько официанток, столпившись у служебного столика, обмирали со смеху, глядя на длинного, видимо отлично зная его, угадывая, чем все это кончится. Кончилось тем, что к буфету подошел милиционер и, обняв несуразного обольстителя за вихляющуюся поясницу, повел его к двери. Тот сперва послушно пошел, но, на полпути вдруг неожиданно, круто изменив направление, шагнул к столику, за которым сидели Костя с Авалиани, и, низко нагнувшись, жарко, пахуче дыша в Костино ухо, таинственно, гулко прошептал:

– Известно ль вам, что в Абиссинии мужи черны, а бабы синие?

После чего приложил палец к губам и, заговорщически подмигнув, покорно отдался в руки подоспевшего милиционера.

– Це-це-це! – укоризненно почмокал языком Авалиани. – Глупый человек!

Косте стало весело.

– Почему – глупый?

– Один пьет. Без друга пьет. Без хорошего разговора пьет. Совсем ишак!

Когда на столе появился графинчик с водкой, в которой плавали сургучные крошки, Авалиани сразу же налил себе и Косте по большой рюмке и, называя Костю «дзмоби́лём», сказал, что надо выпить за дружбу народов, потому что дружба народов – это самое главное в жизни вообще и основа советского государства.

Рюмка была граммов на сто, не меньше. А новый Костин знакомец уже успел где-то основательно «заложить», – сойдясь с ним после представления, Костя немедленно почувял, что от него исходит довольно крепкий дух... Но, чокаясь за дружбу народов, он не стал напоминать ему о «норме». Еще заранее он решил ни в чем не мешать Авалиани, предоставить дело свободному ходу и только смотреть, куда оно пойдет и что в конце концов из всего этого получится.

Пока же все шло неизвестно куда. Авалиани болтал о разных случайных вещах, за которыми, как ни напрягал Костя внимание, не улавливалось ни скрытой мысли, ни цели, ни плана, беспрерывно называл его «дзмоби́лём», что значило, как он объяснил, «земляк», «браток», «друг-приятель».

– Генацвале? – вспомнил Костя единственное известное ему грузинское слово.

– Нет-нет! – замотал головой Авалиани, так что растрепались и взлохматились его буйные жесткие волосы. – Генацвале – это... это тоже хорошее слово, но это... как тебе пояснить?... Цвла – значит, смена. Панымаишь, ты стоишь на посту, часовой например, а тебе идет смена... Генацвале – это такой человек, который тебе на смену идет. Тебе беда грозит, болезнь, горе грозит, а он тебя любит, хочет тебя заменить, на себя твои беды взять... Понял? Ты умереть должен, а он твою смерть себе берет, чтоб ты жил. Панымаишь? Вот какое это слово – генацвале!

– Хорошее слово! – искренне восхитился Костя.

Авалиани тут же налил водки, сказал что-то длинное, со звоном чокнулся о Костину рюмку.

– Ты понял? – спросил Авалиани. – Это я сказал: победа тебе! Пусть ты всегда будешь победитель!

– Над кем победитель?

– Над кем захочешь. Везде тебе пусть победа! На службе победа – чтобы скорей начальником стал, у друзей тебе победа – чтоб первым среди них был! Денег захочешь много – пускай тебе тут победа. Девушку полюбишь, захочешь, чтоб женой была, – и тут пускай тебе победа... Везде победа!

Графинчик был уже опорожнен.

– Эй, кацо! – закричал Авалиани, подзывая официанта. – Ты нам мало принес!

Графинчик совершил недолгое путешествие к буфетной стойке и снова вернулся на стол, наполненный по горлышко.

Авалиани даже не порозовел от водки.

Он сидел прямо напротив Кости, за ним было удобно наблюдать, но наблюдать было решительно нечего; Авалиани вел себя как самый обыкновенный, банальный кутила, дорвавшийся до выпивки и застольной болтовни: без умолку молот, что приходило в голову, подливал Косте в рюмку, чокался, заставлял пить и пил сам, каждый раз произнося какой-нибудь замысловатый тост.

Костя чувствовал, что водка его уже забирает.

«Стоп!» – сказал он себе.

Следующую рюмку он просто пригубил и потом только приподнимал ее, но уже не пил, предоставив это одному Авалиани.

А тот, видать по всему, выпивоха был изрядный.

Но все-таки и его проняло. Глаза его сузились, как-то странно, на азиатский манер, скопились, блеск их стал лихорадочным, лоб взмок. Задев рукавом, он едва не свалил на пол графин.

В это время он изображал льва Цезаря, который, хотя и научен разным штукам, но все равно – как был, так и есть первобытный зверь. Когда его, подлую сволочь, привезли, он ни с того ни с сего изловчился хватить Авалиани сквозь прутья лапой. Слава богу, только порвал рубаху, а будь расстояние хоть на вершок ближе, наверное, не пришлось бы сидеть сейчас за этим столом...

Авалиани скрючил наподобие когтей пальцы и, подражая львиному рычанию, поцарапал себя по груди и боку, показывая, как Цезарь рвал на нем одежду.

– ...а она, – нет, ты панымаишь, стерва какая! – в страшном возмущении скрипнул он зубами, разумея под стервой фрау Коплих. – Она только смеяться начала! Ви, говорит, должно быть, баня не ходиль, водка многа пиль? Мой Цезарь не любит, когда баня давно не ходят и водка многа пьют! Ви, говорит, должно быть, не совсем культурни шелёвек, а Цезарь приехать из Европа!

Скрипя зубами, дергаясь от гнева лицом, Авалиани далее представил, какие слова выслушала от него фрау в ответ на такую свою наглость.

– И это кого – меня, защитника Родины, героя Отечественной войны, учить культуре? Дзмобилю, ты панымаишь, что я не мог стерпеть! Я ее от фашистского ига освобождал! На смерть шел! Во мне полпуда железных осколков от фашистских снарядов! Хочешь, я покажу тебе свои боевые раны? Может быть, ты не веришь, что на мне боевые раны?

«Ну, поехали! – с мрачной скукой подумал Костя. – Боевые раны! Сейчас начнет про ордена, бронзовый памятник на родине...»

И Авалиани действительно начал.

Косте стало совсем скучно, и все показалось предельно, идиотски глупым и бессмысленным: и цирковое представление, на которое он зачем-то пошел, – зачем? – только впустую потеряв время, и бездарно разрисованный ресторанный зал с нелепой тяжеловесной люстрой и тоскливо-тусклым светом, и грязный столик с разнокалиберной, плохо мытой посудой, и кошмарные копии в пышных золоченых багетах... (Кугуш-кабанские третье-гильдейские купчишки, по макушку налитые жиром, водкой и чаем, конечно, их бы весьма одобрили, им бы они пришлись по самому вкусу!) Но самой большой нелепостью показалось ему то, что он сидит здесь, в этом зале, за этим столиком, пьет не нужную ему, отдающую сургучом водку, ест какую-то дурацкую диабетическую

колбасу и вот уже второй час слушает пьяную, не нужную ему трепотню пьяного, неинтересного, не нужного ему проходимца...

– Ну и где же они, почему же их не дали? – спросил он с ехидцей у Авалиани про ордена, заранее наслаждаясь тем, какую тот понесет ахинею.

– Как не дали? Почему не дали? Дали! Но потом назад взяли. Почему? Я тебе скажу – почему. Иди ко мне поближе, я тебе скажу...

Наклонившись через стол, Авалиани, хотя никого не было поблизости, одни пустые столики и стулья, с опасливым видом метнул налево-направо взгляды и свистящим шепотом проговорил Косте в самое лицо:

– Потому что я князь!

– Ну? – не сдержал улыбки Костя.

– Ты не веришь? – Авалиани, выкатывая крутые белки, зло пристукнул кулаком по столу. – Я тебе докажу! Авалиани не врет. Авалиани никогда не врет! Конечно, в паспорте так не написано. Я тебе по-другому докажу. Поедем на Кавказ, в Грузью! За билет я плачу! Поедем в мою деревню, спросишь стариков – кто такой Арчил? Они тебе скажут: син Георгия Авалиани. А кто такой Георгий Авалиани? Они тебе скажут: князь был, *ботони*! Землю имел, вино делал, тридцать пастухов в горах отары пасли! На каждый праздник в нашем доме пир шумел. Сто гостей приходило. Двести гостей приходило! Вино пили, песни пели, из ружей стреляли... Щедрый был князь: Сам любил пожить, другим хорошо делал. Его каждый кхрма как отца родного любил. Ты знаешь, кто это – кхрма? По-нашему – это нищий. Батрак. Пролетарий. Когда отец умер – все батраки за ним в могилу пригали, чтоб их вместе закопали, – вот как они его уважали! Теперь ты видишь, что я тебе правду говорю? – выгибая на лбу тугие морщины, с жестким выражением глаз спросил Авалиани. – Нет, ты не видишь! Хорошо, я иду за билетом...

Авалиани стал неуклюже подниматься, высвобождая из-под стола ноги.

– Офицьянт! Скажи, когда на Кавказ первый поезд?

– Я не справочное бюро! – огрызнулся набриллиантенный парень, щелкавший в отдалении на счетах.

– Хам! – презрительно сказал Авалиани. – Грубый человек. А еще соревнуешься за звание! Хорошо, я сам узнаю...

Он энергично зашевелил ногами, запутался в скатерти и едва не стащил ее со стола.

– Успокойтесь, сядьте, отсюда на Кавказ поезда не ходят, – остановил его Костя.

– Почему не ходят? На Кавказ отовсюду ходят! Кавказ – это Кавказ! Туда сто дорог. Я тебе покажу, какой был наш дом. Где я малышом жил. Ты увидишь, какой это большой дом. Ворота железные! Ты знаешь, кто железные ворота в деревне имел? Только ботони! Князь! Я его любимый син был. Я должен был в черкеске ходить, на имеретинском скакуне ездить... Вот как я должен был жить! А где моя черкеска? Где мой скакун? Вот моя черкеска! – потряс он лацканы трепаного пиджака. – Мой отец стал бы горько рыдать, он оторвал бы себе бороду, если б увидел, какую одежду носит его любимый син... А если бы он узнал всю мою жизнь!..

Авалиани обхватил голову руками и со стоном закачался на стуле.

– Син князя, князя Георгия Авалиани, из-за куска хлеба забавлял публику на арэне цирка! Совсем маленький малыш, он хотел совсем маленький кусок хлеба... О, мой отец, мой бедный отец! Как хорошо ты сделал, что еще прежде этого закрыл свои глаза...

Слезы ручьем текли по бороде Авалиани.

Кажется, была самая пора уходить.

– Почему ты спешишь? Разве тебя ждет ревнивая жена? – возмутился Авалиани, когда Костя стал решительно с ним прощаться. – Мы только начали говорить, а ты уже спешишь! Разве так пируют друзья? Мы еще ничего не успели друг другу сказать!

Он схватил Костю за руки и стал усаживать обратно за стол.

– Я объясню твоей тете! Она не будет сердиться... Пойдем к ней сейчас! Мы ей скажем: спокойной ночи, тетя! Не надо волноваться! А потом назад придем. Шашлык закажем. Ты мой гость, я тебе обещаю – будет шашлык! Хороший шашлык, совсем как в Грузьи... Из молодого барашка! У них есть молодой барашек, я знаю... Им надо только деньги дать!

Авалиани всколготился не на шутку. С него даже хмель сошел.

Убедившись, что Костю не усадить за стол, он вознамерился идти его провожать, чтобы засвидетельствовать «тете», что племянник ее провел вечер абсолютно благопристойно и не заслуживает порицаний.

Что было с ним делать? Он был неотвязен и не хотел понимать обращенных к нему слов. Если бы еще он был пьян и плохо стоял на ногах – его можно было бы просто оставить в ресторанном зале, а то он держался совершенно твердо, с полным соображением.

– Спасибо, князь! За цирк, за угощение – за все спасибо! Но тетя, понимаешь – тетя! – повторял Костя уже на улице, отрывая от себя руки Авалиани, пытавшегося его обнять. – Старый человек, с больным сердцем... Мы ее напугаем, если придем вместе так поздно... Тебя она никогда не видела, пока я ей объясню...

– Что значит – напугаем? Разве я такой страшный? Разве от меня можно пугаться? – не слушал Авалиани. – Мы только зайдём, скажем: здравствуй, тетя! Это мы! Не надо волноваться, вот твой племянник! Все – зер гут, полный порядок! Нормаль!

С превеликим трудом, но Косте все же удалось отлепить его от себя.

Авалиани помрачнел, замолк.

– Передавай мой привет своей тете! – бросил он Косте уже в спину, совсем трезвым и каким-то насмешливо-спокойным голосом.

Гениям надо творить в бронзе

Сверкающий электрический кофейник кипел. Баранников, с сонным помятым лицом, без пиджака и ботинок, в пестрых носках, сидел на столе рядом с кофейником и хмуро слушал телефонную трубку.

– Вы просто не все сделали!

Трубка пищала тоненьким голоском Буратино.

– Да-да, не все... Надо искать. Я еще раз повторяю – важнее этого сейчас ничего нет... Что? Подключите еще людей... Как это – откуда? Не мне же об этом думать! Что? Ну, вот видите, оказывается, можно... Да-да. Да...

Наверное, еще не меньше десяти раз повторил Баранников свое сухое, металлическое «да».

– Шарاپово. Ша-ра-по-во, – произнес он по слогам. – Да, есть сведения. Будто бы у каких-то девок... Хорошо. Немедленно докладывайте. Буду ждать.

Положив трубку, Виктор с долгим сладким зевком потянулся, выбросив руки в стороны, медленно слез со стола – как человек, преодолевающий предельную степень утомления и слабости.

– Спал? – спросил Костя с шутовой укоризной.

– Да вот... – как бы извиняясь, признался Баранников. – Прилег на полчаса, а провалялся... – он глянул на часы. – Ого! Хорошо, что звонки разбудили... Сейчас заварю кофе. Кофе, знаешь ли, это эликсир жизни...

Он бухнул в кофейник чуть ли не всю пачку, покрутил ложкой во вздувшейся пене.

– Не много ли? – вскинул Костя брови.

– По рецепту Фиделя Кастро. А уж он-то в кофе понимает... Ты из дому? Как там Валет?

– Часов в семь я его кормил. А как он сейчас – аллах его знает. Позвони ему по телефону.

– Надо его продать, – задумчиво сказал Баранников. – Сдохнет пес, жалко. Отличная родословная. Шестьдесят рублей! Это он еще совсем щенком стоил. А теперь так и все сто можно взять... Ты это что? – с удивлением взгляделся он в Костю. – Никак – того, кирнул?

– Пришлось.

– Развлекаешься? Так-так... – в свою очередь укорил Баранников. – Театры, такси, женщины, рестораны... А с кем – можно поинтересоваться? Кого это вы «закадрили»?

– Кого тут у вас «закадришь»? Во всем городе – одни престарелые богомолки...

– Не скажи, не скажи!.. – перебил Баранников так, как будто сам он был бог знает каким ловеласом, «закадривать» составляло его излюбленное занятие и в здешней его практике

имелось уже немало такого, чем он мог погордиться перед Костей. – Это ты еще не успел оглядеться. Мы, конечно, не столица, не Париж там какой-нибудь и даже не ваши Подлипки, – до них нам, конечно, далеко, но и тут, брат, такие девы водятся...

– То-то и видно! Насколько я понял – и, кажется, правильно, – еще ни одна женская нога не переступала порога твоей хижины...

– Это говорит только о моем неумении разумно распределять время. Горю, понимаешь ли, на работе. А все остальное откладываю на потом. Да, а время бежит! Бежит время... – сказал он философически, нюхая над кофейником пар.

Из нижнего ящика письменного стола Виктор вытащил распотрошенную пачку рафинада, фаянсовую чашку. Поискал еще, в самой глубине ящика, – нашел граненый стакан.

– Это я тебе. Налить?

– Наливай.

– Так кто же все-таки она?

– Отстань ты! Во-первых, не она, а он. И вообще, это, как говорится, личная жизнь и к делу не относится... У тебя что нового?

– Да ничего особенного... – вяло ответил Виктор, макая в горячий кофе кусок сахара и обсасывая его. – УГРО трудится... Позванивают время от времени. Но пока – без особых достижений. Николай Чунихин вот исчез...

– Считаешь, что скрылся?

– А черт его знает! Нигде нет. Возможно, и скрылся. Подожду еще, не отыщется – объявлю всесоюзный розыск... Мать его, Олимпиада, опять была. Сама прискакала... Назвала село, якобы он там у девок гулял. Да врет, конечно! Ладаном тут навоняла – едва не задохнулся... Чуешь, до сих пор запах?

– Мне сейчас только запахи определять! – сказал Костя саркастически, отхлебывая горячий кофе. – Что же она еще рассказала?

– А! – махнул рукой Баранников – как о не стоящем даже того, чтобы держать в памяти. – Естественно – мать! На Илью Мязина тут плела... Я это понял сразу. Белыми нитками шито. Да еще второпях. От Кольки своего хочет опасность отвести, в ложную сторону меня толкнуть...

– А что именно она говорила?

– Да чушь! Вроде бы Илья убил. Из-за золотых монет, что еще в революцию в печи замуровал.

– В печи? В какой?

– Ну, в доме. Так она сказала. Будто сама видела. А что это ты так насторожился?

– Ты считаешь – это чушь?

– Конечно... – сказал Баранников равнодушно-устало, протягивая руку за новым куском сахара. – Во-первых, если бы Афанасия Мязина убил Илья, он бы, сам понимаешь, без промедления, тут же полез бы в печку за своим золотишком, разворотил бы ее. А печка – я сам видел – никаких таких следов не имеет... Дальше: в окно такому старику трудноато выпрыгнуть, от подоконника до земли почти два метра – попробуй-ка! Это мог исполнить только человек помоложе. Наконец, самое главное, что окончательно рушит этот чунихинский поклеп, – расчет времени. Не мог Илья Мязин успеть так быстро прийти в город от той грибоварни, где ты его видел. Восьмидесятилетнему старцу такие кроссы по пересеченной местности никак не по силам, – тут у него алиби крепкое, самим сотрудником прокуратуры подтвержденное... Нет, конечно, это чушь, ересь, бабий наговор! – категорически заключил Баранников, обрывая самого себя и всем своим видом говоря, что вывод абсолютно бесспорен, он даже не хочет тратить время, чтобы опять перебирать и взвешивать все те обстоятельства, которые дали ему право сделать этот вывод. – Старуха, конечно, ушла в убеждении, что я на ее сказочку клюнул, как карась на муху. Ладно, пусть думает, что я глупый карась... Колька, Колька – вот кого искать надо! – сказал Баранников, повторяя, как видно, занозой сидящую в нем мысль. – А эта его мать, – протянул он в задумчивости, – Олимпиада Трифоновна... ох же, должно быть, и стерва! Крокодилище! Ей-богу, вот увидишь, идейный вдохновитель всего этого предприятия – она! Главный, так сказать, Теоретик, с большой буквы... Но как могла она единственного своего и, несомненно, любимого сына на такую роль толкнуть? Это же ведь какая безжалостность!..

Кофе Баранников заварил крепчайший. Он горчил даже с сахаром. Но зато словно живой ток вливался в тело.

– Одну серьезную деталь, я вижу, ты забыл, – сказал Костя. – Помнишь, утром, когда я пришел с пожарища, я еще говорил, что Мязин просил у Мрыхина отдать ему печку. Значит, указание на золото не совсем чужь!

– Да-да! – восторженно воскликнул Баранников. – Ты говорил... Но ведь ты что-то про ремонт говорил? Не печку отдать, а отремонтировать свою, на квартире...

– Ты плохо вслушался.

– Возможно. Верно, этот интерес к печке... Но почему же он сразу не взял, еще ночью? Ведь это же дело нескольких минут!

– Могло помешать чье-нибудь появление. Хотя бы того, кто вылезал из окна. Ты же сам считаешь, могли совпасть два, а то и три преступления...

– Но позволь, когда бы и как Илья Мязин мог проникнуть в дом? До ухода Мировицкого? По времени никак не выходит... После его ухода? Дверь была на замке...

– Но в доме же дверь не одна. Еще была во двор. Окна со двора пониже, чем с улицы... Как мог проникнуть! Все-таки это его когда-то был дом, Ильи Мязина, уж он-то знал, какие в нем ходы и выходы... Может, через подвал как-нибудь пролез!

– Ага! – сказал каким-то своим умозаключениям Баранников, электризуясь и устремляя в пространство расширенные зрачки. Мысль его, пробужденная от апатии и сонливой лени, чувствовалась, снова раскручивалась на полные обороты.

– А ведь это идея! Черт, как же это я!.. Знаешь что? – вскочил он со стула на ноги. – Надо осмотреть эту печку, сейчас же! И если в ней действительно что-то есть... тогда это мотив, бесспорный мотив! С расчетом времени мы, конечно, могли и ошибиться... Эти расчеты, после событий, когда точно не знаешь, когда что началось, сколько времени заняло, – это зачастую такая приблизительность!

В одну минуту он был готов: затянул на шею галстук, зашнуровал ботинки, влез в пиджак, махнул по волосам расческой. Хохолок, однако, остался торчать на макушке – задиристо и даже как-то победоносно.

– Я же говорил тебе! – воскликнул он торжествуя. – Сами все выложат, *сами!* Мне только останется странички подшить... Идем!

В дверях он что-то вспомнил, метнулся назад.

– Да, я хотел тебе показать... Вот! – с шумом выдвинул он ящик, выбросил на стол коробку от папирос «Казбек». – Ты за Мировицкого беспокоился. Вот его реабилитация.

Костя открыл коробку. В ней чернели какие-то обгорелые кусочки: кость не кость, скорее – перламутр, что ли. Еще – погнутые медные винтики, миниатюрные крючочки, тоже из меди... Отдельно в пергаментной бумажке была собрана темно-коричневая труха – пепел плотной жесткой ткани крупного плетения.

– Все-таки нашли? – обрадовался Костя. – И это все, во что превратилась «Магдалина»? – не удержался он от сокрушенного вздоха.

– Как видишь. Гениям надо творить в бронзе и мраморе. Этот материал все-таки надежней...

Двадцать три тридцать

На пожарище по-прежнему сильно пахло гарью.

Как будто и ветра не было никакого, даже просто течения воздуха, а мязинский ветряк, напоминая о себе, все же тихонько поскрипывал из мрака – точно живой, так же осиротело и скорбно, как и утром.

– Здесь должен дежурный быть, – сказал Баранников, вглядываясь в чернеющие руины.

Древесный уголь пискляво трещал под ногами при каждом их шаге.

– Дежурный! – позвал Виктор.

Прислушались. Скрипел ветряк.

Баранников засветил электрический фонарь, желтоватое пятнышко побежало по кучам золы, разбросанным обгорелым бревнам.

– Гляди-ка! – воскликнул он. – Этого не было...

Закопченная облупленная русская печь, оголенная пожаром со всех сторон, была разрушена с одного угла. Кирпичи валялись тут же на черной золе. Не вызывало никакого сомнения, что разламывали для того, чтобы достать что-то запрятанное.

– Сделано недавно. Может, всего с полчаса, – определил Баранников. – В десять еще не стемнело. До одиннадцати по улицам народ ходил, несподручно было ломать, печь-то у прохожих на виду. Да, работа самая свежая... Дежурный! – снова, вовсю силу голоса, крикнул он.

Никто не отозвался.

Светя фонариком, Баранников в сопровождении Кости обошел вокруг уцелевшей части дома. Окна были вплотную заколочены досками. Дверные проемы в зачерненных пожаром стенах тоже были забиты. Шляпки гвоздей, попадая в световой круг, отсвечивали, как новые гривенники.

– Конечно... – с растяжкой произнес Баранников, вкладывая в свою интонацию такой смысл, что, дескать, чего ж удивляться, когда в помощниках имеешь кугуш-кабанскую районную милицию. – Ротозеи! Что осталось – сложили, набили гвоздей, опечатали сургучом и успокоились. Так сказать, выполнили долг!

Он вернулся опять к печи, осветил на развороченный угол.

– Теперь Илью Николаича – ищи-свищи... Да и я дурак! – помолчав, с безжалостной самокритичностью признал Баранников. – Маху какого дал! Это все Чунихина, холера, – точно каким-то снотворным зельем окурила...

– За полчаса старик далеко уйти не мог. Надо поднять оперативников. С розыскной собакой по свежим следам они его в два счета сыщут, – предложил Костя.

– Ты думаешь, у нас умеют быстро собираться? – фыркнул Баранников. Оплошка с охраной мязинской усадьбы разозлила его не на шутку, чувствовалось, что милиции еще придется держать перед ним ответ.

– Старуха такую фразу бросила: в его мурье пошарьте! Я уже начинаю ей верить... Действительно, не пошарить ли, не теряя времени, в его мурье? Ей-богу, готов на пари: смыться из города он сейчас не торопится. Охраны, как он тут увидал, нету, стало быть, следы его визита обнаружатся только утром. А до утра времени еще вагон и маленькая тележка... Так, погоди, в каком же направлении нам идти? Ага, из этого переулка надо направо, а там еще направо. Это тут неподалеку, я знаю дом. Совсем, можно сказать, близко...

Костя шагал размашисто, метровыми шагами, но все-таки едва поспевал за Баранниковым.

Укорачивая дорогу, тот сворачивал в проходные дворы, нырял в узкие щели между сараями, пролезал сквозь проломы в заборах, известные, должно быть, одним только сорванцам мальчишкам. Причем – почти не посвечивая фонариком, на память. Кугуш-кабанская география, как видел Костя, была изучена его другом в совершенстве.

Дом, к которому они пришли, – типичный обывательский полуторазэтажный дом старой, дореволюционной постройки, обшитый обветшалым тесом, – был погружен во мрак. Они не сразу отыскивали, откуда же в него заходят. Он имел парадный вход с улицы – с каменными порошками, железным резным козырьком, но, как водится, парадные эти двери были намертво запечатаны, очевидно, еще со времен гражданской войны, когда обыватель норовил поглубже забиться в свою нору, притихнуть в ней, притаиться без всяких признаков жизни. В дом, оказывается, проникали со двора, через неприметную дверь неприметных дощатых скособоченных сенец, из которых вели ступеньки: одни – деревянные, скрипучие, расшатанные – в верхнюю половину дома, другие – выложенные из сточенного ногами кирпича – вниз, в полуподвальный этаж, где помещался с семьей теперешний, владелец всего этого трухлявого особняка, из коммерческих расчетов предпочитавший лучшие комнаты отдавать внаем, а самому ютиться кое-как, в сырости и тесноте.

С горящим фонариком, ругая почему зря живущих здесь людей, которые сами же каждый раз отступают на этих сгладившихся ступенях и не удосужатся их поправить, Баранников, держась рукой за шершавую кирпичную стену, осторожно – не сошел, а скорее сполз в подвал.

Всегда есть что-то холодящее кровь в ночных приходах власти, даже тогда, когда люди не знают, не чувствуют за собою никакой вины. Уже одно это – внезапный, громкий, требовательный стук, ворвавшийся в спокойный сон, в теплоту домашнего мирка, топот каблучков и шумное

появление незнакомых начальственных лиц – действует, как весть о несомненной беде, несчастье, и нет такого сердца, которое при этом не сжалось бы в мучительной истоме.

По опыту Костя знал, что сейчас предстанет их глазам: сумбур, хаос, некрасивость обнаженного быта, который застали врасплох, человеческого жилья, где несноровчивы на домашний уют, где не ждали непрошенных гостей.

Костлявый, болезненного вида, в одном исподнем мужчина отворил дверь. На первые вопросы Баранникова он отвечал, прыгая на одной ноге, а другой стараясь попасть и не попадая в штанину. Рыхлая пухлолицая женщина с накрученной на голову косой и торчащими шпильками, его жена, натянув до подбородка пестрое лоскутное одеяло, глядела на вошедших с широкой кровати. Между нею и стеной лежала еще девочка лет двенадцати, тоже проснувшаяся и тоже молча, по-зверочьи, с любопытством следившая за происходящим... Дряхлая старуха закопошилась на печи, тягуче закашлялась; черный кот, потревоженный ее возней и кашлем, спрыгнул на пол, зевнул, выгибая спину, потерся о Костину ногу и подошел к глиняному черепку с остатками какой-то еды...

Небритый, пропахший махоркой хозяин стал по-настоящему понимать вопросы и обрел разум, только когда уяснил, что ночные гости интересуются не им, а его квартирантом Ильей Николаичем. Он сделался даже словоохотлив. Жена его тоже присоединилась к разговору, своими репликами с кровати помогая мужу объяснять, что Илья Николаич вот уже, почитай, месяц, как с ними и не живет, а все в лесу, на своей грибоварне, и приходит только, когда в городе у него какое-нибудь дело. Последний раз ночевал с неделю назад. Сегодня, верно, был, часу так в десятом утра, – зашел и сразу ушел, и больше не появлялся.

– Рубаху сменил, – сквозь кашель сказала с печи старуха.

– Правильно она говорит, рубаху сменил, – подтвердила с кровати хозяйка. – Мы ему постирывам, когда что оставит, со своим-то чо не постирать человеку-то? Труд не велик...

– А место его – вон это, – показал хозяин в запечный угол. Там стояла железная койка, на ней лежал конопатый парень. – Это мой племяш, сестрин сын, из деревни приехал. Хочет на шоферские курсы поступать...

Имущество Мязина хранилось под койкой. Оно состояло из пары сношенных дырявых сапог и пыльного фанерного баула, какие делывали еще в двадцатых годах. Когда его открыли, в нем и вещей-то почти не оказалось: старые портянки, латанные ватные штаны, подшитые черной резиной валенки да еще какая-то неопределенного назначения ветошь...

– Вы не сердитесь на нас, – со всей вежливостью извинился Баранников перед хозяевами. – Мы, конечно, не стали бы вас тревожить, если б не так срочно было нужно...

– Ничего, ничего, – великодушно сказал хозяин, в той очень понятной радости, которая возникает у людей при близком соседстве с неприятным делом, когда это напугавшее попервоначалу дело благополучно, не задевая, проходит мимо. – Мы понимаем... Вы ж ведь не по своей охоте, у вас причина служебная...

Еще с того момента, когда выяснилось, что ночные посетители пришли из-за Мязина, хозяина все время точило любопытство вызнать подробности – чего это вяжутся к старику. Теперь наконец он решился:

– Может, это не положено, но мы люди обыкновенные, неученые... Так что вы уж простите... Меня, как хозяина, интересует, поскольку Илья Николаич на квартире состоит, в одном с нами помещении... Человек он вроде спокойный, преклонный уже старик... Я так понимаю – это что-нибудь из-за пожара этого, что случился, да?

– Примерно так, – не сморгнувши, ответил Баранников. – Выясняем просто, отчего он загорелся, пожар этот. От него ведь и родственник Ильи Николаича пострадал...

– Афанасий-то Трифоныч? Да, уж это беда так беда! Он меня хорошо знал. Бывало, что и чинить ему кой-чего приходилось, водопровод иль так что, по мелочи... Сам-то я слесарь, на затоне, семнадцатый год... Встретит, попросит, – такому человеку почему не уважить?.. А про Илью Николаича если вы что думаете – так его той ночью и не было тут вовсе. Он уж утром про все узнал. Катька, вот она, дочка моя, к нему на грибоварню бегала, – указал он на девочку со зверочьими глазками, жавшуюся под одеялом к материному плечу. – В седьмом уж часу...

– В половине седьмого, – поправила девочка, не пропускавшая ни одного слова из того, что говорилось в комнате.

– Я, правда, на часы не глядел, чтоб сказать точно...
– А я глядела! – подала голос девочка. Глазенки ее посверкивали смело, бойко.
– Ну, раз глядела, значит, в полседьмого... Мы ее посылали. Вернее сказать – Дуня, вот жена моя, посылала. Как же, говорит, такая страсть, а Илья Николаич где-то, ничего не ведат! А Катька прибежала – он уж знал. Бабы грибы сдавать принесли – и сказали...

– И вовсе не бабы, а Клавка Шулякова, она одна-то и знала! – поправила девочка.
– Ну, Клавка, – согласился мужчина. – А она кто есть – не баба, что ли?

Баранников слушал с профессиональным вниманием. Когда мелькнуло имя Клавки Шуляковой, он записал его на вытасченной из кармана карточке и быстро черкнул рядом еще какие-то замысловатые значки, понятные только ему.

Железные ходики на стене с гирьками в виде еловых шишек размеренно отстукивали минуты.

– Может, к Мировицкому подняться? – вслух подумал Баранников, когда они с Костей, попрощавшись, выбрались из подвала в дощатые сени.

– А чем он сможет помочь? – вопросом ответил Костя. – С Мязиным общения у него почти нет. Да и неудобно будить в такой поздний час, только пугать старика...

– Нет, давай подыдемся, – не слушая Костю, сказал Баранников, направляя на ступеньки фонарь и начиная взбираться по скрипучей лестнице. – Раз уж мы здесь – почему бы не поговорить? А насчет беспокойства – это ничего, мы извинимся... Какая к нему дверь, их тут три – прямо и две направо?

Хозяин дома стоял внизу, в освещенном прямоугольнике открытой двери.

– Прямо, – сказал он услужливо. – К Евгению Алексеичу прямо. Направо – там другие люди живут.

Баранников постучал в дверь, – негромко, потом посильней.

– Евгений Алексеич! Это я, Баранников! Спит, наверно, – подождав и не слыша ответа, проговорил он. – А дверь не замкнута, – удивился он затем и потянул за ручку. – Евгений Алексеич! – позвал он, приоткрывая дверь пошире.

Вдруг Баранников издал странный короткий возглас, даже не возглас, а вскрик, как человек, чем-то необычайно пораженный, и на две-три секунды оцепенело застыл возле приоткрытой двери.

Костю, находившегося в начале лестницы, пронзило чувство острой безотчетной тревоги.

Он взлетел по порожкам и, с шумным дыханием, из-за плеча Баранникова увидел то, что заставило Виктора издать свой возглас и оцепенеть: в желтоватом луче фонарика увидел ноги Мировицкого в стоптанных, кривых, зашнурованных бечевкой брезентовых полуботинках, висящие и покачивающиеся рядом с блестящей плоскостью покрытого веселенькой клетчатой клеенкой стола...

Двадцать четыре ноль-ноль

Удивительно, непостижимо это свойство человеческой души – надеяться. Надеяться даже тогда, когда уже нет никаких надежд, когда разум уже совсем отчетливо понимает полную их тщету...

Пока ждали прибытия врачей, все – и Костя, и Баранников, и всполошенные жильцы – находились в этом состоянии надежды, надежды неизвестно на что, на какое-то чудо, может быть. А вдруг! А вдруг медицина сумеет, вдруг она сможет!

Баранников первый нашел силы подавить в себе растерянность и обрести необходимую в его положении деловитость.

Он бегло, но достаточно подробно осмотрел комнату, предполагая найти оставленную Мировицким записку. Нет, записки Мировицкий не оставил.

Тело Евгения Алексеича, снятое с бельевого шнура, лежало на кровати, поверх серого суконного одеяла, слегка наискосок; длинные его ноги в брезентовых полуботинках, показывая

толпящимся в дверях стертые подошвы с впечатавшейся в левый каблук канцелярской кнопкой, безвольно свешивались за край кровати.

Небогато, и как еще небогато, холостячки-неустроенно существовал в своей комнатухе Евгений Алексеич! Безмолвные вещи, служившие ему, представляли сейчас красноречивую повесть всей его жизни, его немудрящего, совсем нищенского быта. Простенькая кровать, дешевый стол, шкафчик, выкинутый каким-то учреждением ввиду полной изношенности и негодности, с инвентарным номерком, намалеванным прямо на дверце красной краской... Полки его были битком набиты книгами и бумагами. В углу на табуретке стояла закопченная керосинка, на ней – зеленый эмалированный чайник. Все это вместе представляло кухню Мировицкого. Тут же на стену была прилажена самодельная полочка, покрытая газетным листом; на ней Костя увидел кружку, маленькую кастрюльку с торчащей алюминиевой ложкой. Еще стояла круглая картонная банка с детской овсяной мукой. Из этой муки беззубый, больной желудком Евгений Алексеич варил себе кашу...

Одна деталь особенно больно коснулась Костяного сердца: чтобы не затруднять людей поисками документов, не усложнять причиняемые им хлопоты, Мировицкий заранее приготовил и положил на стол, на видное место, свой паспорт, пенсионную книжку, билет члена всесоюзного общества, распространяющего научные знания...

Косте стало больше не вмоготу терзаться тем, что видели глаза. Он спустился вниз, пристроился во дворе на перекладину дровяных козел, закурил сигарету.

Немного погодя вышел Баранников, закурил тоже, присел рядом.

Сверху спустились и стали не спеша – спешить было не для чего – вынимать из машины носилки бесполезные врачи.

С минуты на минуту должны были подъехать милицейские работники для производства необходимых в таких случаях формальностей.

– Это – обыск... – негромко, как бы отмечая очевидное, проговорил Костя. – Обыск его доконал. Он и так был придавлен сознанием своей непоправимой вины, а тут еще ему дали понять, что его рассматривают как грабителя и...

– Чушь! Чепуха! – взвился Баранников, делавший как раз в этот момент затяжку и задохнувшийся дымом. – Не было у него обыска! Как только криминалисты доставили остатки картины – я сейчас же обыск отменил! Ты, может быть, считаешь, что я дубовое бревно? Да ты, я вижу, меня совсем не знаешь, хотя мы и отсидели с тобой в одной аудитории пять лет! Ей-богу, мне по-настоящему обидно!

– Извини, я не знал... – сказал Костя смущенно. – Но все-таки мы что-то не так сделали... Когда он утром упал на колени и стал просить возмездия...

– Что же я должен был делать? – вскричал Баранников. Что-то слишком уж нервно воспринимал он Костю. Похоже, внутри себя он был далеко не так уверен в своей правоте и безгрешности, как старался изобразить это наружно. – Что же мне надо было с ним сделать? Посадить его в тюрьму? А что написать в постановлении? «По просьбе арестованного»? Да? Я его утешил, как мог... Может быть, недостаточно убедительно, не почувствовал, на какой он грани, на что может решиться... Но мне тогда было не до того, чтобы вникать в эти посторонние делу тонкости психологии... И я не знаю, кто на моем месте стал бы вникать, нашел в такой момент для этого и время, и внимание... *Что* мы не так сделали? Подтолкнули его? Нет! Способствовали? Чем? Это совесть человека так распорядилась, такой он вынес самому себе приговор! Редкостной, взыскательной совести был человек! Сказать откровенно, я это только вот сейчас до конца осознал. И мне его очень жаль! Жаль, что такая душа ушла от нас. Таких мало...

Из дома слышались топотня ног, голоса, непрерывный скрип лестницы.

Хозяин, накинувший ватную телогрейку поверх белой исподней рубахи, растерянно-обалделый, стоя с другими жильцами во дворе, снова и снова рассказывал, как часу в шестом вечера, когда он пришел с работы и мылся из рукомойника, готовясь обедать, хлебать щи, к нему спустился Евгений Алексеич и отдал за квартиру деньги, хотя был еще не срок, оставалось еще четыре дня. И он эти деньги взял, малость удивившись, чего это жилец торопится, но, в общем, не придав этому значения. А оно-то было вон что!..

Нестерпимо светя фарами, подъехал милицейский ГАЗ с прутиком радиоантенны над брезентовой крышей.

Открылась дверца, на землю выпрыгнули темные фигуры, опавшая на себе пояса, форменные фуражки.

– Ага, вот хорошо, Ерыкалов здесь, Мрыхин... Я их возьму, тут и без них справятся... – сказал Баранников, взглядевшись в приехавших. – Ладно, Костя, погорючим потом, а сейчас надо работать. Золото-то сперли, старика надо задержать! Ты, конечно, птица вольная, тебе бы, я знаю, поспать... Но, может, с нами поедешь, за компанию? Да? Ну, отлично! Домой только заскочим на секунду, я Валета возьму – пускай хоть лапы промнет...

День третий

Ладья Ильи Мязина

1

Колоколообразный динамик на пристани прогремел над рекой «Последние известия» и, гулко щелкнув, умолк.

Городок спал.

Это в далекой Москве еще вечер не отшумел, а в Кугуш-Кабане время перевалило за полночь. Темнота была и тишина.

Лишь быстрая речка Кугуша шелестела, позванивала, всплескивала на перекатах.

В этом месте она разливалась привольно. Тут два ручья втекали в нее – Чикорак и Тюлюбей, и на обширном лоне воды стоял небольшой остров, где в чаще раскидистых берез хоронился древний, рубленный из могучих бревен храм.

В сумраке ночи плыла к острову черная смоленая лодка. Тяжкий, непосильный груз влекло утлое суденышко: бесполезную, скучную и злобную жизнь человека. Его обветшавшую плоть, мятущийся мелкий разум и жестяную закопченную банку, на которой, не будь она так заржавлена и закопчена, можно было бы прочесть: «Чайная торговля Перлов и К°».

Илью Мязина влекла черная ладья.

Легкий водяной следок за кормой чертил последние аршины его длинного житейского пути. Этот берег маячил близко.

2

А тот был далеко.

Тот, где промелькнуло детство золотое, от которого в памяти – чудно сказать! – не что-нибудь осталось, не материно лобзанье, не тихая колыбельная песня, а только лишь алая рубашонка да плисовые порточки – обнова, надетая однажды в праздник, на ильин день.

Да из поры отрочества воспоминание: в отцовской лавке тайно, воровски взял из кассы пятиалтынный, за что преждестоко был трепан папашей за виски.

Вот и вся память о тех далеких днях.

После того пошла корысть, пошла скука. Сперва лишь скука, как за прилавком отцовским торчал, а затем, когда Трифон-братец лесопилку затеял под фирмой «Братья Мязины», – корысть и все та же скука: то на лесосеках, то на сплаву, то в конторе, за счетами.

Светлым облачком, правда, мелькнула в той поре жизни красна девица. Взор голубой, лучистый, черны брови, коса русая... Шепот прерывистый, нежный. И две ли, три ли ночки с предрассветной истомой, с жадным желанием человеческого счастья проблеснули зарницами и скрылись навечно...

Сам, сам скучным, убогим своим рассудком рассудил, что не пара, дескать, ему Танюшка: голь, босота. Не такую, дескать, по коммерческому делу надобно супругу. Пушай постраховитей, помордастей, покривей, да чтоб при капитале. Чтоб слить капиталы воедино и на сем постаменте воздвигнуться до миллиона и выше...

Тогда-то ушла Танюша светлоокая, неутешная в скиток и, постригшись в черницы, нареклась Таифою.

А он так и не нашел себе кривой с миллионом. Продолжал состоять при брате младшим, глядя из братниных рук.

И вся жизнь его сделалась как злобное змеиное шипение.

3

Он на все шипел. И еще завидовал.

На брата-покойника шипел – зачем, сумму денег имея в пузатом бумажнике, свалился под колеса поезда, переходя из вагона в вагон. Ну, что помер безвременно, – куда ж денешься, божье соизволение, все там будем... Но что сумма денег при сем случае погибла – за то шипел даже у гроба, при отпевании.

Шипел на невестку – зачем с Ибрагимкой сваялась, Любовь! Любовную страсть он почитал блудом, забыв про те немногие свои ночки, в какие единственный, может, раз в жизни и был человеком-то...

Шипел на племянниц, на племянника – зачем они? Для дела – ништо, а ведь – наследнички... Никуда их не денешь, половинную долю – отдай!

На свою домоправительницу: пошто побирушке свежего ситника отрезала, расточительная женщина! Ему и черствая корка хороша...

А завидовал лишь двум: кугуш-кабанскому бочару Марю, что, копаясь на огородишке за сараями, нашел древний чугунный котелок, набитый червончиками. Тыщ на десять, сказывали.

И еще Гришке Распутину – что ловок, распросукин сын: мужик-мужик, а на какой верх забрался! Куда там его, Илюшкин, постамен с мильёном!

Когда же стала Советская власть – он шипел на нее, и даже с ядом в слюне. И в то время действительно замуровал золотишко...

А затем потекла жизнь – не жизнь, одна отсидка. Везде побывал: и в Сибири, и на самом краю света – на Колыме. Весь карболкой провонял от дезинфекций.

Но последние годы жил тихо, незаметно, с одной лишь думкой: как бы половчей выручить из печки заветную банку...

И вот дождался.

Утром хитрил, добивался у милиции взять на погорелом месте кирпичиков, якобы на починку худой печи. Так не дали. Прогнали. Тогда под покровом вечерней темноты тайно пришел на пожарище, разворотил печной угол, взял свою похоронку... С замирающим сердцем встряхнул ее и, ликуя, услышал: гремят лобанчики!

Чужую лодку отвязав, поплыл к острову, чтобы в сем пустынном месте перехоронить.

И вот она, заветная банка, лежала в ладье у ног его, и он плыл...

И берег уже чернел, вычерчиваясь на тусклом ночном небе пузатенькими маковками старинного деревянного храмчика...

4

Но, ах, как ужаснулся, когда лодка мягко сунулась в травянистый берег!

Почуял страх. Безотчетный. Не сравнимый ни с одним из тех страхов, что были испытаны в течение долгой и трудной жизни.

Страх зародился под сердцем. Он рос внутри человека, прорастал сквозь ребра, давил под левым соском.

И руки настоль ослабли, что уже и лодку втянуть не могли. Так она и осталась, покачиваясь на легкой волне, как бы в сомнении – не то прибиться к берегу, не то уйти на струю...

Дрожащими руками прижимая к тревожной груди сокровище, шел, спотыкаясь, ко храму. Он уже откинул мысль о том, чтоб закопать золото в корнях приметной березы. Чаял лишь дотащиться до двери Таифиной сторожки, постучаться к единственному, некогда любившему его существу. Сказать ей: «Прости... Помираю!»

Жирные лопухи, разросшиеся обочь тропы, цеплялись за ноги. Он дважды упал и, каждый раз с превеликим трудом и болью подымаясь, чуял: конец, не дойдет...

И вдруг словно невидимый и ужасный кто-то с треском ударил его в темя. И он упал в третий раз – уже у самой двери сторожки, с отчаянием и ненавистью восприняв своим угасающим слухом два звука: погромок золотых монет о жестянку и залиvistую дерзкую трель соловья.

Падая, ударился головой о дверь, и этот стук разбудил Таифу.

– Кого господь несет? – ворчливо спросила она из-за двери.

Но он уже не в силах был откликнуться, а только хрипел.

Смутно чернея на светлой воде, ладья Ильи Мязина уплывала во мрак...

«Помяну имя твое...»

1

Всю жизнь о нем только и были мысли.

В иноческой келье-могиле, в мирской суете – все о нем, все о нем вспоминала...

Все его ждала.

Чаяла – вот придет, ласково слово молвит. Пусть хотя бы малую каплю душевной своей теплоты вольет в ее исстрадавшуюся, одинокую душу...

Нет, не встречались их жизненные пути, все шли розно.

Когда закрыли скит, Таифа смиренно попросилась у городского начальства в сторожихи, охранять звероферму, в храме на острове. Ее зачислили на службу, выдали пимы, тулуп, завалящее ружьецо. Долгими ночами ходила округ церкви, караулила государственное добро – проволочные клетки с чахлыми черно-бурыми лисенятками, которых Гелькин тесть велел разводить в неволе.

Не разводились, коржавели лисенятки. А тестюшка двухэтажный домище тем часом себе отстроил, за что и был снят с должности как не обеспечивший руководство.

И вот нежданно-негаданно понаехали вдруг из Москвы какие-то. Все лето ходили по острову, обмеривали стены храма, снимали на фотокарточки, рисовали. На другой год пришло распоряжение – выпустить на волю захиревших лисенят, убрать клетки, смахнуть с церковных стен пыль и паутину, подмести полы и почистить колодезь, в незапамятные времена вырытый во храме. После чего была навешена охранная доска: «Памятник архитектуры».

Таифа и при памятнике осталась сторожихой.

Тогда-то бог весть откуда заявился Илья. Стал грибоварней вершить. Кликнул, чтоб шла подсоблять.

Пошла с радостью. С надеждой услышать теплое слово, почуять душевную ласку, в тихой беседе среди сокровенной лесной тишины обогреть сердце, нахолодавшее за долгую неприкаянную жизнь...

Но всей и беседы-то вышло, что – «подай!», да «прими!», да «дровец подкинь!». А то так и с матерком – «шевелись, поворачивайся, стáра каргá!»

Один лишь раз, зашибшись хмелем, заплакал, пожалился на пустоцветом отцветшую жизнь. На сиротство. На многие обиды, претерпленные от людей. И тут вдруг нежданно открыл ей тайну замурованного золота: что есть у него, есть несметное богатство, да как взять? И лишь помянул про то – так куда и слезы делись! Волчьим зеленым огнем сверкнули из-под косматых бровей глаза, и весь сделался дик, страшен... Сгорбясь, сидел у костра – сивый, кудлатый, как бы ошетинившийся, до ужаса похожий на старого волка...

Но чего не простит любящее женское сердце! И матерок, и окрик грубый, и даже лишенную человеческого обличья звериную стать. Лишь бы не гнал прочь... Лишь бы пришел, когда наступит последний час, – к ней бы пришел, к единственной, чтобы сказать «прости»... Чтоб к груди ее преклонить свою победную головушку...

И вот – пришел!

Лежит, бездыханный, у порога.

Молча опустила перед ним на колени, приникла к его холодеющему, пропахшему печной гарью и табаком телу.

И не было слез над мертвым. Потому что одно лишь чувство торжества заполняло все существо ее: пришел! Ведь не о ком-нибудь – о ней, о ней вспомнил в свой последний час, к ее скудному жилищу приплелся, чтоб у ее порога умереть!

– Помяну имя твое во всяком роде и роде, – пробормотала Таифа слова псалма. – Сего ради люди исповедаться тебе во век и во век века...

2

Час ли, два ли сидела она этак над мертвым Ильей, вся отдавшись власти странного чувства своего запоздалого торжества.

Медленно поворачивала над нею темная безлунная ночь свои далекие звездные круги. Наконец первый крик прокричали за рекою кугуш-кабанские петухи. И, очнувшись от этого крика, она стала думать: как же теперь ей поступить?

Самой ли здесь, на острове, под сенью старого храма предать земле, по древнему благочестию отпеть его скорбную душеньку? Или родню покойного оповестить, чтоб взяли его и с родственными почестями похоронили на городском кладбище?

Но для чего же?

Чтоб снова ушел? Чтоб, окруженный родней, лежал во гробе – такой же одинокий, отчужденный от нее, как и всю-то жизнь был отчужден?

Нет, уж не отдаст теперь!

Какие б муки мучениские ни пришлось претерпеть, а не отдаст!

С трудом приподняла тяжелое, громоздкое тело, втащила в каморку. Засветила огарок, кинулась было – по обычаю – обмыть покойника, да поняла, что не осилит, и, достав из-за божницы склянку, сбрызнула святою иорданскою водицею того, кто некогда был великим грешником и кого люди называли Ильею Мязиным...

Тупым огородным заступом выкопала затем ямку в густом кустарнике под самой стеной алтаря и, волоком перетащив туда Илью, предала земле, отпела новопреставленного. Старческий дребезжащий голос сливался с тоскливым воем за полночь налетевшего ветра. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего...» – пела старуха. «Идеже несть болезнь и печаль...» – уныло вторил ей в верхушках берез полуночный ветер. «Ни воздыхание...» – плакала Таифа. «Но жизнь бесконечная!» – договаривал ветер.

Земной поклон положив могилке, просветленная несказанной благодатью, тихонько побрела в темную свою сторожку, собираясь там, не сомкнув глаз, читать по усопшем.

И не чаяла, бедная, что ожидало ее!

3

У самого порога споткнулась обо что-то круглое, резко загремевшее жестью в ночной тишине.

Нагнулась, подняла. «Ох, тяжелехонько!»

А когда при жалком свете огарка увидела жестянку и что было в ней – поняла, зачем в полночный час приплелся Илья на остров... И, недавнее его признание о замурованном золоте вспомнив, сразу связала его со вчерашним пожаром, с гибелью Афанасия...

В отчаянии глядела на закопченную громыхающую жестянку, ужасаясь ей, проклиная ее, чужая на ней кровь человеческую...

О, злато!

Навеки будь проклято ты, несущее злобу и горесть, разлучающее сердца людей, сеющее окрест себя лишь страшные семена душевного ожесточения!

Вот оно, гремит в жестянке, словно смеется, словно бормочет что-то лукавое, темное...

Уничтожить его! Навеки сокрыть!

Да как уничтожишь?

Сокроешь как?

Закопать – так уже и силы не стало, иссякла вся. Схоронить в подполье, в дупле древесном – найдут ведь...

«А! – мелькнула мысль. – Утопить!»

Нет, не в речном омуте – там купаются, ныряют. Там рыбаки неводы тянут. Там с весны водолазы из города – что ни лето – шарят, ищут следы затонувшего древнего погоста, в незапамятной давности с оползнем опустившегося с острова на дно...

Во храме, в колодезе святом утопить!

4

Предание шло от старины, от времен Ермаковых.

Будто некий дружинник его Кирилл, ужаснувшись великого множества пролитой им крови безвинных людей, кинул кольчугу и саблю и, вырыв в лесной дебре землянку, затворился в ней и стал жить, постясь и изнапашивая себя. Жившие вокруг дикари до поры до времени не трогали его, а только дивились той жизни, какую он жил, равно как и тому богу, который подвигал его на подобную жизнь.

Но однажды к Кирилловой землянке пришел шаман с людьми своего племени и стал насмехаться над Кириллом, говоря: «Вот ты не ешь махан и не пьешь кумызу, и от того в тебе нету силы. Наверно, и твой бог такой же бессильный!»

И пришедшие с шаманом дикари смеялись и пили из своих турсуков допьяна. Когда же совсем охмелели, стали кричать: «Вот мы насмехаемся над тобой, и ты ничего нам не сделаешь! Ежели твой бог и вправду могуч, попроси его, чтобы он поразил нас огнем!» А шаман сказал: «Если твой бог не покажет нам свою силу, то мы тебя уьем!»

Кирилл подумал: «Ну, видно, пришел мне конец!» И опустился на колени и стал читать отходную молитву.

Тогда из ясного неба упала огненная стрела, глубоко расколола камень и сделала колодезь, наполненный чистой, прозрачной водою.

Дикари в страхе разбежались и больше не смели насмехаться над Кириллом и угрожать ему. А он срубил над чудесным колодезем часовенку. Позднее староверы, бежавшие от Никонова притеснения, построили на этом месте храм.

С течением времени река изменила русло, сделала «прорву», и храм оказался на острове.

5

Колблющееся трепетное пламя огарка кидало ломаную черную тень на тропинку, на ветхие ступени паперти.

Непослушными руками, с трудом отомкнула Таифа тяжелый висячий замок. Стукнула, заскрипела на ржавых петлях приземистая тяжелая дверь, и гулко отозвался во мраке храма этот железный скрип. Длиннобородые лики строго, сердито, волчьими глазами Ильи глядели со стен. Летучая мышь мертвым холодом повеяла над головой, едва не погасив свечу...

Боже мой, как долог, как труден показался путь до низенького деревянного сруба! Наконец амвон завиднелся, тусклой позолотой блеснули царские врата алтаря...

И вот он – святой колодезь!

Перекрестясь, положив земной поклон, прилепила огарок к шаткому налойчику, стоявшему у сруба. Тихонько, бережно, стараясь не загреметь, опустила па пол жестянку и, ухватясь за чугунное кольцо дубовой крышки, с трудом приподняла ее. Погребным холодом пахнуло из черного мрака...

Тут опять нетопырь шарахнулся, и погасла свеча.

В густых потемках словно бы легкий шорох послышался Таифе. Она замерла. Нет» ничего... Лишь сердце в груди.

Брякнула банка под рукой.

– А-а, проклята анафема! Да не зрить же тебе более свету вовек! Да не сомуцати легковерные слабые души!

Цепко держат одеревеневшие от напряжения пальцы погромыхивающую жестянку Бездонная утроба колодезная сейчас поглотит ее. И до второго пришествия лежать ей на дне, надежно сокрытой от глаз людских...

Но слабый протяжный стон доносится вдруг до слуха Таифы... Откуда он?

О, владычица!

Там, там – во мраке алтаря, а может, и за пределами его – кто-то стонет тяжело, жалобно...

И смертным ножом догадка полоснула по сердцу: уж не Ильи ли? Не его ли беспокойная душенька скорбит, мечется над свежей могилкой у стен алтарных? Не его ли мертвые руки жадно тянутся к окаянному золоту?

Застыла Таифа.

И уже совсем не чувт онемевшие пальцы холодную жесть тяжелой банки.

– О-о-о! – явственно донеслось из алтаря. – О-о!..

Вскрикнула старуха и, уронив загремевшую жестянку, кинулась вон из храма...

6

Предрассветный ветер трубным гласом гудел в березах. Темное строение храма – как тулово зверя. И маковки его – как головы. И дверь, распахнутая настежь, – аки зев!

Господи! Куда убежать от сего? От этого мрака, от гласа трубного, от стоны могильного жителя! От всего, что таится во тьме бытия...

Широкой полосой застывшего олова блеснула река. Хризолитовой россыпью за нею – огни. Белым заревом дрожит над городом сияние электрического света. Весело, задорно свистит паровичок узкоколейки на лесозаводе. Поет рожок на далеких железных путях. Последние петухи горласто перекликнулись в слободке... Там – жизнь!

Туда, туда – к этим ликующим ярким огням бежать! От жутко трубящих деревьев, от прожитой юдоли житейской, от страха могильного, от злобных глаз мертвеца! Бежать!

Вон и лодка, колеблемая ленивой волною, чернеет невдалеке. Еще можно успеть добрести до нее... Ухватившись за низкий борт, перекинуть на дно карбаса изнеможенное тело...

Таифа ступила в воду. Не чувствует холода, обнявшего колени. Скорее! Скорее! Мягко, ласково обтекая плечи, набегающая волна. Еще шаг – и рука достанет до лодки... Как четко, близко чернеет она на белой, переливающейся отражениями огней воде! Но с гулом в ушах смыкаются валкие хляби над головой, и безмолвная чернота глубины равнодушно приемлет тело Таифы.

Рабы твоя, господи!

Пролог к «Хованщине»

Пятная яркими фарами лесную тьму, милицейский ГАЗ выскочил на поляну.

– Будьте любезны, приехали! – останавливая машину, сказал Ерыкалов. – Сцена изображает лес и развалившуюся мельницу...

Он настойчиво занимался по радиопередачам саморазвитием, усиленно налегая почему-то на оперное искусство.

В сумерках раннего рассвета грибоварня и в самом деле выглядела фантастично. Скособоочившийся дощатый кильдимчик, где хранилась несложная утварь грибовара и где он укрывался от непогоды, хмурые деревья, обступившие поляну, быстро бегущие по небу рваные облака – все это действительно напоминало декорацию из третьего акта оперы «Русалка».

Какие-то тени метнулись с поляны в лес, послышался дробный топот, треск валежника. Звонко залаявший спаниель опрометью рванулся во тьму.

– Кабанам аппетит перебили, – фыркнул Мрыхин. – Ишь, стреканули!

– Кабанам? – удивился и даже встревожился Баранников. – Да ведь они моего Валета...

Он не договорил, стал кричать:

– Валет! Валет! Ко мне!

Но тот, видимо, и сам здраво оценив превосходящие силы противника, уже несся назад, к хозяину.

– «Знакомые, печальные места... – вполголоса пропел Ерыкалов. – Я узнаю окрестные предметы...»

– Шаляпин! – съехидничал Мрыхин.

Медленно разгорался рассвет. Отчетливо завиднелся котел, потухший очаг, куча крупно нарубленных сучьев, грибной мусор, перемешанный с кабаньим пометом.

Баранников поковырял палкой в золе. Она была холодная, ни искорки не блеснуло под пеплом.

Заглянули в кильдим: пустота. Убогое логово не то зверя, не то человека. Грязное тряпье, рваная овчина в углу, топор с расколотым топорщиком, куча тальниковых корзин, немытая корчажка с едким запахом какой-то протухшей кислятины, прислоненный к стене колченогий табурет о трех ножках...

– Стильный гарнитурчик! – хихикнул Мрыхин.

– Зря только время теряем, – сказал Баранников. – На остров надо ехать.

Все пошли к машине.

Когда выехали к реке, легкие длинные облачка начали светиться, подергиваться золотистой каймой, отражая еще не видимое людям солнце. Причудливые хлопья бело-розового тумана плыли над водой.

– Эх, – вздохнул Баранников, – в кои-то веки увидишь подобную красоту!.. То дрыхнешь в это время, то в бумажные горы закопаешься... А? – толкнул он Костю, кивая на разгоревшуюся зарю. – Что скажешь?

– Совершенно – пролог к «Хованщине»! – сказал Ерыкалов. – Колоколов только нету...

Костя улыбнулся: артисты! У каждого одно на уме – где Илья Мязин? А вот – пожалуйста: любованье зарей, «Хованщина»...

Неприятно вторгаясь в тишину воды и леса, защелкало, заскрежетало. Это Мрыхин включил радиотелефон, крутил рычажок, настраиваясь на передатчик милиции.

– «Василек»! «Василек»! – покрикивал он. – Я «Ромашка»! «Ромашка»!

– «Ромашка»? – В шорохе и треске мембраны послышался дребезжащий механический голос, так не вязавшийся с очарованием сияющего утра, с расплавленным золотом восходящего солнца. – «Ромашка»! Алё! Алё!

– Алё-алё! – закричал Мрыхин. – «Ромашка» слушает!

– «Ромашка»! – заскрежетал механический голос. – Вокзал... и аэродром... не дали... результатов... Алё! «Ромашка»!

– Вас понял! – человеческим голосом сказал Мрыхин. – Постов не снимать. Ясно? «Василек»! Алё-алё!

– Есть постов не снимать! – прохрипел «Василек».

Показалась пристань. Слышалось ровное постукивание работающего вхолостую мотора.

– Нас дожидается, – прислушиваясь, сказал Ерыкалов.

– Четко действуете! – похвалил Баранников.

– Ого! – засмеялся Мрыхин. – Прокуратура милиции комплименты отпускает – случай небывалый!

Спустя минуту милицейская моторка рвала на клочья пенистую волну широкой в этом месте Кугуши. Маслянисто-жирными кольцами, змеями, восьмерками разливалась, убегая к берегам, потревоженная вода...

Фамильный склеп господ Кугушевых

Митрофан Сильвестрович правильно называл свое кладбищенское дело производством. Это действительно было довольно сложное хозяйство, обеспечивающее сотням горожан очень приличное загробное существование.

Кугуш-кабанский житель, уходя из мира сего, то есть будучи вычеркнут из ведомостей на зарплату, изъят из картотек собеса, навечно выписан из домовых книг, не исчезал, не растворялся в небытии, но, благодаря энергичной деятельности Митрофана Сильвестровича, продолжал существовать.

Кугуш-кабанцы, между прочим, так даже и говорили о своих в бозе почивших согражданах: «Ушел к Писляку», подчеркивая этим как бы не конец, а продолжение физической жизни покойного. И это действительно так и было: вычеркнутый из надлежащих списков, он зримо появлялся в прохладных аллеях кладбища, перевоплотись в надгробный камень с фотографическим портретом, в скульптурный бюстик на античном цоколе, а то так (ежели у

родственников покойного не хватало средств) и просто в аккуратную табличку, выполненную на металлической пластинке, с полным наименованием клиента, соответствующими датами рождения и кончины и обязательно с порядковым номером вечного жилища.

Для ведения такого сложного дела, как мы уже знаем, Митрофаном Сильвестровичем были учреждены различные цехи, и в течение восьмичасового рабочего дня городское кладбище меньше всего напоминало печальное место вечного упокоения. Здесь стоял веселый производственный шум – визжала циркулярная пила, звонко грохали молотки жестянщиков, сухо, pistolетно потрескивали орудия каменотесов. Лишь у художников и фотографов работа протекала беззвучно, но зато они сами или свистели, находясь у своих рабочих мест, или горланили непристойные песенки, что также мало способствовало печальным размышлениям о бренности всего сущего и дополняло и усиливало прямо-таки индустриальный шум, стоявший в рабочее время над кладбищем.

В течение дня в кладбищенские ворота наряду с погребальными автофургонами то и дело въезжали ЗИЛы, МАЗы и всякие другие грузовые машины, подвозящие камень, кирпич, тес и иные материалы, потребные для писляковского производства.

И лишь только с наступлением ночи на территории кладбища воцарялась вожделенная тишина. В эти поистине мертвые часы кладбищенские ворота запирались на замок. Впрочем, нередко и в ночное время к царству мертвых подкатывал грузовик, чья-то рука осторожно стучалась в оконце Селимовой будки. Недовольно кряхтя, бормоча татарские слова, причудливо перемешивая их с русскими, старик Селим Алиев вылезал из своей норы, спрашивал: «Ты, бачка Сильвёртач?» – И, получив утвердительный ответ, отмыкал ворота, впуская воровато шмыгающую машину.

– Как, бачка? – тянул из бараньего тулупа жирную, в бесчисленных складках шею. – Сама таскать будыщ, нето подсоблять мала-мала?

И если Писляк говорил, что надо подсоблять, – примащивался на подножку машины и ехал к склепу господ Кугушевых подсоблять.

Склеп был старый, петровских времен. Более двухсот лет в его мрачном подземелье находили себе вечное пристанище потомки древнего рода бояр Кугушевых, по какой-то неписаной генеалогии восходивших чуть ли не к самому царю Кучуму.

Теперь господ Кугушевы, переведясь начисто, в склепе более не нуждались. И он стоял безымянный, единственный из памятников городского кладбища, не имеющий номера и точного обозначения – кто находится в его недрах.

В недрах же находилось не кто, а что:

Кровельное железо.

Электрический провод.

Цемент.

Алебастр.

Дефицитная метлахская плитка.

Облицовочный кафель.

Гвозди.

И даже две газовые колонки...

И ежели бы на фигурных железных дверях фамильного склепа господ Кугушевых обязательно потребовалось обозначить, что именно здесь погребено, эпитафия выглядела бы примерно так:

*В сем склепе покоятся,
крыша универмага,
полы
и
облицовка
дворца пионеров
и прочие
дефицитные материалы,
в разное время похищенные
неизвестными лицами
с городских строительных площадок*

Ошибка Митрофана Писляка

Все свои мысли и поступки Писляк всегда считал единственно правильными, исключая какими бы то ни было ошибки или заблуждения.

Это, бесспорно, относилось и к тому, что он сказал и сделал за последние сутки в связи с непредвиденным бедствием, постигшим его дорогого шурина Афанасия Трифоновича Мязина.

Он, Писляк, отлично, так сказать – на равной ноге, гражданственно держал себя в кабинете следователя товарища Баранникова. Вполне тактично и умно отвечал на его вопросы. Осторожно коснувшись того и сего, весьма хитро сумел ровно ничего ему не сказать. Вовремя ухватился за мелькнувшую мысль и тотчас же сигнализировал следствию свои вполне обоснованные подозрения на Чунихина и Мухаметжанова.

Все, как говорится, было в ажуре, и лишь одно беспокоило Митрофана Сильвестровича, как-то неприятно и болезненно скреблось в сознании: зачем упомянул про то, что ночью был на производстве...

Дело в том, что он и в самом деле ту роковую ночь провел на кладбище.

Надо же было, чтоб так обернулось!

В половине двенадцатого у его домика на окраине города остановилась машина. Некий абсолютно надежный человек с почтового ящика номер ноль семнадцать предложил купить у него сто килограммов цинковых малярных белил. О таком сверхдефицитном товаре можно было только мечтать. Поэтому, много не говоря, быстро сошлись в цене, и ровно в двенадцать Митрофан Сильвестрович уже стучался к Селиму.

Сгрузив товар к господам Кугушевым, он вернулся домой и, облачившись в голубую пижаму со старомодными застежками в виде венгерских шнурков, совсем уже было собирался отойти ко сну, как у ворот снова зафырчала машина. На сей раз это оказался тоже абсолютно надежный человек, но уже не из продавцов, а из покупателей. Человеку позарез нужна была метлахская плитка, давал он за нее чуть ли не вдесятеро против госпрейскуранта, и Писляк, соблазнившись, повез его на свое производство. И там, вторично потревожив прах господ Кугушевых, отпустил покупателя требуемое. Ночь, таким образом, почти вся целиком действительно была проведена на кладбище...

Свидетелем обоих его посещений был все тот же выживший из ума старик Селим, и все это было бы ничего, если б в разговоре со следователем случайно не упомянулось, сорвавшись с языка, это его, Писляка, ночное пребывание на кладбище...

Совершенно ни к чему.

Воротившись от Баранникова, которому он так удачно капнул на ребят, Митрофан Сильвестрович долго размышлял, прикидывал в уме все за и против и в конце концов решил, что самое благоразумное будет – перебазировать свой склад от господ Кугушевых куда-нибудь понадежней.

Но куда?

Раздумывать долго не приходилось. Место захоронения напрашивалось само: одна из шести вырытых впрямь могил. Они, кстати, и находились в непосредственной близости к склепу, так что перебазировка не сулила особых трудностей.

Придя к такому разумному решению, Митрофан Сильвестрович растолкал Антонида и велел ей собираться.

При помощи двух тачек и старика Селима все было как нельзя лучше закончено еще до наступления рассвета. Над свежим холмиком красовался скромный крест, к подножию которого догадливая Антонида даже положила небольшой букетик наспех сорванных с чужих могилочек цветов.

Можно было идти домой и спокойно почивать. Но вот тут-то Митрофан Сильвестрович и совершил действительно серьезную промашку: прощаясь с Селимом, он вложил в его протянутую трудовую руку всего лишь одну-единственную пятерку, то есть ту именно сумму, какую он обычно давал старику, когда тот подсоблял при рядовых операциях по разгрузке или погрузке «товара».

Однако в нынешней работе Селим усмотрел нечто выходящее из ряда, и вознаграждение показалось ему недостаточным.

– Мала, бачка! – проскрипел он недовольно. – Селим железы таскал, могилкам клал... Мусор, диримó хоронил могилкам, греха на душу брал – а ты чего? Пятеркам давал! Мала...

Писляк удивился. Он никогда не слышал от Селима такой длинной речи. Но дело и впрямь сегодня было тонкое и деликатное, и, чуточку поколебавшись, он добавил трешницу.

Старик спрятал деньги, но, проводив Писляка и его благоверную, еще долго ворчал, сердито поминая шайтана и «бесстыжую мурдам», поскупившуюся одарить его, Селима, хотя бы четвертным...

– Могилкам пакустил, шурум-бурум хоронил, – бормотал он, тараща бессонные стариковские глаза во тьму, – а он, шайтан, пятеркам давал... хе!

А Митрофан Сильвестрович мирно похрапывал, видел приятные сны, и ему и в голову не приходило, что только что им совершена огромная, непоправимая ошибка...

Такая, каких он отродясь еще не совершал.

Чары древа карколиста

– Нуте-ко, молвите мне, Кузьма-Демьян, а ну, молвите! Пошто-де выходят из моря-окияна бабы простоволосы? Пошто-де оне, окаянны, по миру бродят? Пошто от сна, от еды отбиват? Кровушку сосут пошто, жилу тянут, яко червь, печень черну точат, желты кости-суставчики ровно пилой пилат?

Низкий басовитый голос сонно гудел, то замирая, то усиливаясь, как ветер в печной трубе.

Третью ночь в доме машиниста железнодорожной водокачки Келелейкина хозяйничала Олимпиада. Она приходила тайно, пользуясь тем, что сам Келелейкин работал в ночную смену, не бывал дома в эти часы.

За полночь раздавался условный стук, и машинистова жена впускала черную старуху, начинала суетиться, кидалась завешивать окна, зажигать перед образами лампадки и свечи. От страха перед тем, что сейчас станет делать Олимпиада, перед тем, что ну-ка почему-либо вдруг вернется домой, нежданно-негаданно нагрянет муж, у жены тряслись руки, она роняла вещи, бестолково металась из угла в угол.

– Чо лотошишь, лотоха? – сурово покрикивала на нее Олимпиада. – Чо хваташь-то ровно слепая? Рушник, говорю, подай! Воду припасла ли?

И снова гудела, гудела...

– Встану я, раба божья Ненила, пойду, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, из двора в дворы... Путем-дороженькой к морю-окияну приду, припожалую. У того у моря у окияна стоит древо карколист, на том древе карколисте висят Кузьма со Демьяном, Павел со Лукой... Нуте-ко, Кузьма-Демьян, Лука-Павел, нуте-ко, молвите мне – пошто-де ночным делом выходят из моря из окияна бабы наги, простоволосы?..

Олимпиада косила строгим взглядом куда-то за спинку кровати, в угол, словно там-то и росло диковинное древо, словно там-то и хоронились Кузьма с Демьяном от сердитого ее взгляда... Земной поклон положив перед ярко освещенными образами, брала чистое полотенце, расстилала его у постели, продолжала гудеть:

– Ох, не житье вам туто, злодейки, бабы простоволосы! Не житье вам туто, не прохладище! Ступайте-ко вы, бабы, во болота зыбучи, во озера глубоки, за быстры реки, за темны боры! Там-от для вас, бабы, кровати постановлены тесовы, перины-те постелены пуховы, напитки медвяны, сахарны... Там-от вам будет житье, жилище-прохладище – по сей день, по сей час!

И снова бухала поклоны, заунывным голосом пела, выговаривала странные, темные слова каких-то чудных, непонятных молитв.

А та, для кого все это делалось, «раба божья Ненила», вот уже вторую неделю лежала, терзаемая изнурительным недугом, горела в жару. Она то и дело впадала в беспамятство, бредила и то звала кого-то, то в ужасе кричала:

– Уходи! Уходи!

Мутными, невидящими глазами глядела на Олимпиаду, на мать, не узнавая ни ту, ни другую. Какие-то, видимо, иные образы мелькали перед ней, не давали покоя, пугали ее...

– Вон он! Вон! – безумным взглядом уставилась она на стену, туда, где мирно, размеренно постукивали старые ходики. – И еще... и еще! Да сколько ж их!

– Ага, затормошились, проклятущи! – довольно сказала Олимпиада. – Побежали, окаянны... Глянь, глянь – на рушничку-то, на рушничку! А каки еще хоронятся, упираются... Вот же мы их сейчас! Воду давай! – резко, зычно крикнула она. – Воду! Ну-кась, святители Кузьма со Демьяном... Ну-кась, дивно древо карколист!

Она вырвала из дрожащих рук матери ведро и с маху выплеснула воду на больную. Девочка не своим голосом вскрикнула и замерла...

– Ненилушка! – кинулась мать на колени перед кроватью. – Доченька! Да отзовись же, лапушка родная! О-о!..

– Чо зевашь, дурища? – спокойно и презрительно сказала Олимпиада, подбирая с полу рушничок и пряча его за пазуху, под платок. – Радоваться надо, беспутна твоя голова: не видишь, чо ли, – девка-то облегчилась...

Сильный, настойчивый стук в дверь оборвал ее на полуслове.

– Сам! – ахнула мать. – Господи Иисусе Христе! Пропали наши головушки!

Первая стойка Валета

Остров с его деревьями и храмом, зыбко, расплавленно зеленея, отражаясь в ослепительно-яркой речной глади, всей своей темной, прохладной массой надвигался на лодку. С выключенным мотором, лепеча прозрачными струйками длинного следа, она мягко причалила к песчаному мысу.

Первым из лодки выскочил Валет. Спугнув в прибрежной осоке чирка, потешно хлопая ушами, он весело понесся в сумрачную глубь острова.

По вилявой тропинке поднялись на пригорок, к храму. Приземистый, затененный деревьями, с узенькими щелями оконцев, с низко нависшими тесовыми кровлями над папертью и двумя притворами, он, казалось, еще весь был во власти ночного мрака. И лишь свежепозолоченные кресты пузатеньких маковок, словно зажженные свечи, ярко горели в нежной голубизне погожего неба.

Чуть поодаль, в густо разросшихся рябиновых кустах, чернела сторожка. Оба оперативника и Баранников скрылись за ее низенькой дверью, а Костя не пошел. Так не хотелось отрывать взгляд от неописуемой красоты этой древней сказки – от голубоватых в утреннем неярком свете березовых стволов, от причудливых очертаний бревенчатого храма...

Словно зачарованный, стоял Костя у заросших травой ступеней южного притвора, внутренне дивясь охватившему его радостному чувству восторга и гордости от того дивного дива, что вставало перед ним, овеянное росной свежестью летнего утра. «Ну что, – думал он, – что, казалось бы, мне от всего этого нагромождения бревен, крылечек, обомшелого зеленоватого теса бочкообразных кровель, репчатых куполов? Что мне эта старая, доживающая свой аредов век церквуха? Религия, бог, православная церковь – какие все далекие и даже совершенно вне моего мира существующие понятия! И тем не менее...»

Ласточки-касатушки с веселым свистом проносились над головой, стремительные, как пули, скрывались в темных навесах застрех, делали какое-то свое, надо полагать, очень важное и неотложное дело... И эти черные столетние бревна, эти резные наличники узеньких окон, эти ласточкины гнезда, прячущиеся под зеленовато-бурыми тесинами застрех, – все было родное, русское, с материнским молоком всосанное десятками поколений его, Костиных, неведомых предков.

«Русское! – вздохнул Костя. – Вот в этом-то все и дело...»

Странный, захлебывающийся лай Валета вывел из задумчивости. Спаниель терся о его ноги, нервно, раздраженно влаивая, кидался куда-то в сторону и снова подбегал к Косте, снова совался носом в его колени.

– Ты что, дурачок? – спросил Костя, наклоняясь, желая погладить собаку.

Но Валет увернулся от ласки, смешно заскулил и побежал за угол храма, все время оглядываясь на Костю, словно приглашая его следовать за собой.

Показались Баранников и милиционеры.

– Старика никаких следов, – сказал Виктор, – и бабка словно сквозь землю провалилась... Ни в сторожке, ни на огороде – нигде. Вот еще в церкви надо посмотреть... Э! – воскликнул он, услышав залиvistый лай Валета. – Да ведь он разыскал что-то... Факт!

Они нашли собаку у восточной стены церкви. Захлебываясь злобным лаем, Валет кидался на что-то странное, неподвижно торчащее пеньком среди рыхлых комьев свежерытой земли.

Этим «что-то» оказалась большая, жилистая, со скрюченными узловатыми пальцами рука мелко, видимо, наспех, закопанного человека...

Золото

1

Речная струя бежала все шибче. Крепящая проволока порвалась, каждое бревно было уже по отдельности... Он еще на чем-то стоял и, стоя, неся вместе с пеной и бревнами, но понимал, что опора его ненадежна, сейчас она ускользнет и ему быть в воде...

А мутная, несущаяся в пенных бурунах река была страшна! Чернели дыры воронок. Бревна с тяжелым треском налетали друг на друга, переламывались пополам, вставляли торчмя. Он не хотел в эту воду, все тело его корчилось, содрогалось от страха и нежелания. Даже дух остановился в груди! И, не видя себе спасения, широко раскрывши рот, он закричал. Но получилось только мычание, стон, протяжное «о-о-о!». И от нестерпимого страха, от своего стона он проснулся...

В глаза ему хлынула мягкая тьма и поразило, что вокруг такая тишина, – ведь еще только что ревела бурунами река, вскипала пена, с грохотом ломались бревна: внутри себя он еще весь был полон этого шума и грохотанья...

Приподнявшись и сев, он встряхнул головой, прогоняя из нее дурман видений, почесал под одеждой вспотевшее тело. Ноги тоже зудели, чесались, – они жарко прели в сапогах, толсто увернутые во влажные от пота портянки.

Он яростно пошевелил пальцами ступней, но зуд не унялся, и тогда он, неловко шоркая в темноте громоздкими сапогами, стащил их и размотал вонючие портянки, с блаженством почувствовав распаренными ногами свободу и прохладу воздуха.

В затылке ворочалась тупая ломота. С нею он заснул на закате солнца, с нею и проснулся сейчас. От нее можно было полечиться, но ничего такого с собою он не прихватил, не догадался в той поспешности, с какою покинул город. А тут, на этом дурацком голом островке посеред реки, где он как дикий Робинзон и где из живых душ еще лишь полоумная старуха Таифа, разве сыщешь? У Таифы не водится. Да и показываться ей...

Ладно, бог с ней, с опохмелкой! Вот он жратвы никакой не прихватил – это куда хуже... В животе уже ноет, в пустых кишках урчит... Еще-то день, не жравши, он продержится. А если Валька и через день не заявится, не принесет с собою жратвы? Если мать не разгадает, куда он делся, где его искать? Картуз свой жевать, да?

На минуту он запечалился и приуныл, припомнив всю цепь событий, волею которых ему пришлось очутиться здесь, в разоренной церквухе.

Но печалиться и унывать, как бы ни бывало ему худо, он долго не умел, не такой был породы. Какие бы неудачи, неприятности, какие бы горести ни выпадали на его долю, всегда в нем скоро брала верх беспечная легкость: а, обмнется как-нибудь!

И верно, всегда как-то обминалось, и жизнь его опять шла более или менее нормально, своей чередой. Он был уверен, что и на этот раз обязательно обомнется, надо только какое-то время выждать, пока самый шум, не соваться на глаза...

Папиросы и спички, к счастью, с ним были.

Покури и отшвырнув во тьму затушенный плевком окурок, он снова лег на свое жесткое ложе, устроенное из досок и фанеры, запахнул пиджак, подсунул под голову картуз и опять погрузился в крепкий сон – на этот раз спокойный и ничем не тревожимый, без сновидений...

2

Когда, спустя несколько часов, Николай открыл глаза, в трех забранных узорными решетками алтарных окнах зеленела рассветная мгла и голуби, ночевавшие в храме, уже томно ворковали, влетали и вылетали в дыры купола и стен, хлопая крыльями и роняя с высоты помет, звонко шлепавший на деревянный пол.

Голые ноги застыли. Проснувшись, первым делом он обулся, обдернул на себе пиджак и, зевая, потягиваясь, почесываясь, вышел из алтаря, где спал, и сел на ступени амвона.

Тут он не спеша закурил, сплюнул вязкую слюну. Во рту все еще отдавало сивушной гадостью, под грудиною упорно пекло, будто там лежал горячий уголь. Изрядно же он хватил, коли до сих пор так пакостно – стаканов, должно, шесть или семь... Он вспомнил про деньги и с испугом – при нем ли они? – схватился рукой за задний брючный карман. Пальцы сразу же нащупали плотную пачку. Он вытащил ее, пересчитал бумажки. Четыреста пятьдесят. Пропито, стало быть, совсем ерунда. Полторы сотни он раздаст дольщикам. Чистыми останется триста... Не так уж и много! Вообще-то он продешевил. Надо было назначать семьсот или даже восемьсот. Вот это была бы настоящая цена, пускай бы поискали, кто согласится дешевле! Да еще ведь Вальке Мухаметжанову полсотни надо отвалить: как-никак, а помогал, без него б не справиться...

Валька! Что же все-таки вышло? Почему его мильтон под конвоем вел?

Когда он увидел на улице, как ведут Вальку, какое у друга бледное лицо, у него даже ноги ослабли и точно к земле приросли. Хорошо, подвода с ящиками его закрыла, а если б не подвода? Если б увидел его мильтон? Ерыкалов вел Вальку, а Ерыкалов – гад известный, он бы уж его не упустил... Скажи ведь, как повезло! Ведь он как раз к Вальке-то и шел, в его мастерскую. Узнать: как тут, после ночи-то, тихо, не ищут его? На пяток бы минут раньше – и он сам так бы прямехонько и влетел в объятия Ерыкалова!.. Представить только, какая для того была бы радость!

А может, Вальку-то совсем из-за другого замели? Мало ли чего еще мог Валька отколоть! Ночью, когда они расстались, он – ого-го! – какой тепленький был, переложил, дурак, для храбрости... Мог спяну в городе задраться... Мало ли что мог! Выпивши, он глупой, задиристый, липучий, так сам на рожон и прет, надо не надо...

Нет, подумал Николай, довольный собой, это он сделал правильно, что не пошел домой и ни к кому не пошел, а сразу же умотал подальше. Если у Вальки обойдется, он сообразит, приплывет на дощанике сюда... Про это место он знает. А если сегодня-завтра не приплывет, тогда, похоже, их накрыли... Тогда надо мотать куда-нито. Деньги у него есть, в любой конец хватит...

Вот только жрать хочется, черт! Даже во рту от слюны кисло!

Николай с ожесточением выплюнул окурок, поглядел вверх, на воркующих по карнизам голубей. Попробовать нетто сшибить камнем да на костерке запечь? Мальчишкой когда-то он так делал. Нет, не попадешь, высоко!

Свежий ток воздуха растекался по замусоренному, белесому от раздавленной штукатурки полу. Дуло из распахнутых настежь дверей, глядевших на алтарь из дальнего конца храма,

А вчера они были закрыты на всякий замок. Чтобы попасть внутрь, ему пришлось влезать на крышу, искать подходящую дыру...

Значит, пока он спал, сюда кто-то входил? Кто же мог входить, кому это понадобилось? На острову одна только Таифа, а ей тут ночью делать нечего...

Встревоженный, Николай повел глазами по сторонам. Внутри храма все было, как обычно, как вчера, когда он сюда проник. Облупленные стены в бледных охристо-рыжих фигурах святых старцев с сиянием вокруг лысых и косматых голов. Возле стен – дощатые подмости, заляпанные

мелом, краской. Прошлый год тут работали реставраторы, что-то делали на стенах, – это их лесенки и подмости... С одного из простенков, из зеленовато-лилового сумрака, медленно таявшего и еще густого в глухих углах, большими темно-синими глазами глядело чье-то кирпично-бурое, иссеченное трещинами, суровое лицо. Взор был неотступно-прямо, совсем живой, и глядело не два глаза, а три: третий, побольше других двух, прорезывался из кирпично-бурой щеки ниже правого глаза, почти на переносице...

Разбудив под сводами гулкое гремучее эхо, Николай дошел до распахнутой двери, таясь, выглянул наружу.

Травянистый склон полого убегал от дверей храма вниз, к речному берегу. Среди кудрявой листвы горбила свою крышу Таифина избушка. Над рекою пластался туман. Еловый лес частоколом, в дремоте стоял на противном берегу. За ним, в стороне, далеко-далеко, слабо, неясно розовело скопище городских крыш.

Безлюдно и безмятежно-тихо было на всем видимом пространстве.

А между тем в церкви все же кто-то побывал! Но кто? Кто? Ведь только у старухи есть ключ от железных, кованых церковных дверей. Что же ей тут понадобилось – ночью? Крышка колодца сдвинута... Банка какая-то... С вечера ничего этого не было.

Николай поддел банку носком сапога. Неожиданно она оказалась тяжелой. Громко звякнув, она подскочила в воздух, из нее брызнуло и полетело во все стороны что-то сверкающее, искристое... Чуть ли не с минуты Николай был окружен звоном и мельтешением, прежде чем и звон, и мельтешение унялись и он смог разглядеть желтые кружочки. С любопытством он поднял те, что оказались к нему поближе. Они походили на медали: на каждом профиль какого-то бородатого...

«Деньги! – вдруг ожгла его быстрая как молния догадка. – Старые деньги! Золото!»

3

Никогда прежде не держал он в руках золотых денег. Да и золота он почти не держал и не знал толком, какое оно. Зато слыхивал про него много и часто, как всякий русский человек. Сколько про него, про золото, в русской речи присловий и всякого поминания! Нет детства без сказок, а в сказках его сколько блестит! Золотой петушок, золотая рыбка, золотой теремок...

По всему тому, что он слыхивал про золото, оно должно было быть прекрасно, гореть, как перья жар-птицы, и душа замирать от восторга, созерцая его блистание и горение.

Он же, догадавшись, что в руках его золото, испытал только удивление, что оно выглядит совсем не так, как про него поется и говорится и как он всегда его представлял, – довольно-таки обычный, даже невзрачный металл желтого цвета. И всё. Только что тяжелый. Стопка монет штук в двадцать ощутимо тянула руку книзу, как солидная гирька.

Вслед за недоумением, что очень уж какое-то оно простое, золото, к нему пришло другое недоумение: откуда оно тут, в замусоренном, разоренном храме?

Он поднял банку, в которую были насыпаны монеты, повертел. Таких вроде теперь не делают... Какие-то буквы на жести, но их съела ржавчина, не прочесть. Банка, конечно, старая, тех старых времен, что и желтые монеты с бородатым дядькой... Из колодца ее, что ли, достали? Или, наоборот, прятали?

Нагнувшись, Николай заглянул в глубину сруба. От черноты, которую он увидел, загадочного молчания колодца ему стало не по себе, жутко – до липкого пота под мышками и на лопатках. Что-то зловещее почудилось ему в рассыпанных по щербатым доскам желтых монетах, невесть как, невесть откуда явившихся... Припомнились маменькины рассказы про заговоренные клады, к которым притронулся только – миг тут же умрешь, окаменеешь, сделаешься столбом соляным... Почудилось, что кто-то смотрит на него издали, с тайной бесовской радостью, что поддался приманке, протянул к ней руки, коснулся ее... а она тут для того и оставлена... И не человеком – бросит разве человек такое-то богатство?..

Он телом, спиной почувствовал на себе взгляд, обернулся и вздрогнул: пронзительно-пристально глядело на него из сумрачного угла неподвижное, неестественно расширенное, исполненное неодобрительного, сурового внимания сине-черное, совершенно живое око...

– У, дьявол! – выругался он, узнав тот диковинный одинокий глаз на щеке, уже не в первый раз его пугающий и более всего напугавший вчера, когда он, забравшись в церковь, неожиданно

для себя, точно на нож, наткнулся на испуганно-пронзительный, режущий взор из глубины стены, – сквозь штукатурку, сквозь чье-то плоское, темное, кирпичное лицо...

Может, все это и было колдовством, – душа его не хотела в это вникать. Ему было достаточно, что перед ним – золото, деньги, и, не задумываясь больше, не терзая голову, чье это золото, почему оно так оставлено, он кинулся собирать монеты, с нетерпением и жадной дрожью в руках: как бы собрать их все, как бы ни одной не пропустить, не проглядеть, – вон они как рассыпались, раскатились!.. А каждая монетка-то – сколько, ежели на рублики?!

Там, где они лежали густо, он сметал их ладонями, вместе с мелким сором, покрывавшим пол. Закатившиеся в щели между досками выковыривал щепкой, подвернувшейся под руку проволокой. Запорошивая себе глаза, он выдувал из щелей пыль, припадал к ним лицом: не проглядел ли? Вон что-то блестит... Нет, кусочек стекла... А это монетка! Махонькая какая! А вот эта – да! Весу-то, весу сколько!..

Найденные монеты он ссыпал на полу в кучу и, когда собрал их все, раз десять поелозив на четвереньках по каждому месту, разворошил кучу пошире, чтобы поглядеть, полюбоваться на монеты: как их много, как они приятно, тяжеловато-скользки под рукою, как лакомо переливается на них тусклый жирный глянец...

И вдруг произошло чудо: совсем как в сказке монеты вспыхнули оперением жар-птицы, полыхающий их жар осязаемо ударил Николаю в глаза, в лицо, – он даже вскрикнул сдавленно от мгновенного этого чуда и задохнулся от восторга никогда не виданного зрелища... Казалось, золото зажглось само собою, а это первый солнечный луч, упав внутрь церкви сквозь решетку одного из окон, коснулся рассыпанных на полу монет...

Опустившись перед ними на колени, с тесно сдавленным горлом, в котором клокотало, прыгало что-то странное – смех не смех, хрип не хрип, – Николай еще и еще трогал монеты, раскатывал их так и этак, чтобы жарче сделать их блистание, и немо замирал над ними, замороженный, не чувствуя ничего вокруг...

Вдруг он точно обрел слух: под самыми стенами церкви, совсем рядом, перекликались голоса, повизгивала собака...

Торопясь, он стал сгребать монеты, совать их в банку, пугаясь их гремучего звона, отзвуком загудевшего вверху пустого храма, под облезлым дырявым куполом...

Звонко защелкали под арочными сводами шаги, умноженные гулом до топота несметной толпы. Николай, сжавшись, пугливо задергал головой: казалось, на него идут со всех сторон, изо всех углов, изо всех простенков. Все в нем рвалось бежать, все в нем уже бежало от топота надвигающихся шагов, но сам он, не вставая, сидел на полу, прижимая к груди помнятую жестяную банку. Еще не все золото было в ней, добрая половина монет, жарко горя, еще была на полу, и он с бешеной торопливостью скреб по ним свободной рукою, стараясь захватить их побольше. Но они точно перестали даваться в руку: он их схватывал, сжимал, а они выскользывали, высыпались...

В потоке солнечного луча, ломая его и засты, мелькнули плотные тени, показавшиеся Николаю огромными, великаньими, и, точно пушечный гром, раскатился на всю церковь голос, непонятно-веселый, непонятно-довольный, как бы упав на низ откуда-то сверху, из-под самого купола:

– А вот и главный герой... Николай Чунихин, собственной персоной! И даже добыча при нем!

Трижды убийца

– Ну, что ж в молчанку-то играть? Старика мы нашли, найдем и бабу. Только для тебя же лучше, если сам покажешь...

Баранников жестко нажимал на каждое слово.

Ерыкалов в сторонке отряхивал мундир: он больше всех измазался, когда обыскивали церковное помещение, искали, нет ли еще вещественных доказательств, еще каких улик.

Колька вел себя в полном соответствии с размерами своих преступлений. Мелкий воришка, будучи пойман, вопит, льет деланные слезы, отпирается. Николай же при аресте впал в состояние

шока. А когда его подвели к раскопанной яме позади храма, так он и вовсе закаменел: выкатил белесые, как у обваренного рака, глаза и начисто лишился речи. Он только густо, до лиловости, наливался кровью и удушливо дышал, ни словом не отвечая на вопросы.

До чего же здоровенные были у него плечи, иссиненные татуировкой ручищи, какая могучая сила жила в них! Кинься он на Баранникова и милиционеров – с ним бы не справились всем гуртом. У Кости даже мысль вертелась: шепнуть Баранникову – связать бы Кольку для безопасности. Но Колька, видать, так был подавлен, что не помышлял ни о сопротивлении, ни о бегстве. Мощные его плечи обвисали безжизненно. Он даже фуражку свою несколько раз обронил, пока его водили по храму во время обыска.

– Забрался сюда давно?

– Вчера... – чуть слышно выдохнул Николай.

– Правильно, вчера, – согласился Баранников, как будто он в точности знал про Кольку все и теперь лишь сличал его ответы с истиной.

– А когда?

– Помню, что ль... Вечером...

– А не раньше? Может, в ту еще ночь, а?

– Не... – мотнул Колька лохматой головой.

– А ту ночь как ты провел?

Колька, сопя, склонившись, ковырял пальцами «краба» на своей моряцкой фуражке.

– Ну, что ж молчишь? Дома тебя не было, на Верхней Пристани – тоже. Где ж ты был?

Колька с треском выщипнул из «краба» нитку.

– Деньги у тебя откуда такие?

– Зарплату получил! – со смешком, как бы отвечая за Кольку, вклинился Мрыхин.

– Зарплата ему идет ноль целых хрен десятых, – сказал Ерыкалов осудительно. – Работничек еще тот! Одни прогулы. По части зашибаловки – тут он, верно, передовик...

– Значит, посуду сдал! – весело догадался Мрыхин.

Баранников смотрел на Кольку с прищуром, как будто видел его издалека. В нем, чувствовалось, что-то собирается, подобное электрическому заряду; он как бы берет разбег, чтобы приняться за Чунихина уже по-настоящему. Он и разглядывал-то Николая так, словно прицеливался, выбирал местечко поуязвимей.

– Деда ты как – придушил или пристукнул? Камушком, вероятно? Практика у тебя вроде бы уже есть...

– Не знаю, про что это вы говорите... – сопя, лиловея, выдавил Колька. Корявые его пальцы терзали, теребили «краба».

– Фуражечку-то пожалей. Ишь, какая она у тебя нарядная. Капитанская! – сказал Мрыхин с иронией. – Капитан с разбитого корыта!

– Еще раз спрашиваю – бабку куда дел? – В голосе Баранникова уже был накал. – Где ты ее присыпал? Или, может, ты ее в колодец? Ну?

– Чо – ну? – озлясь, огрызнулся Николай. – Сначала запряги, потом нукай! Заладили – дед, бабка! Может, еще и репка где? Ничо я не знаю, понятно? Спал я. И все. И ничо я больше не знаю!

– Спал? – неожиданно спокойно, пропуская дерзость, переспросил Баранников. – Все, чем ты тут занимался, – это только спал. Другого места тебе поспать не нашлось. Дома тебя мухи кусают...

Еще секунду он пристально изучал Кольку, затем снял с него взгляд – точно бы полностью, миг утратив к Чунихину интерес, как человек, который все знает и которого совершенно напрасно, бесталанно путают, попусту отнимая у него время.

– Так, кто останется с ним? – спросил Баранников, обращаясь к милиционерам. – Товарищ Мрыхин – вы? Но одного мало, надо кому-то еще... Позовите из лодки моториста. У него есть оружие?

– Ох, страшно! – скорчил Мрыхин на своем веселом лице гримасу. – Детинушка – Микула Селянинович... А если он – того?

– А если он того – так в лоб ему, и пускай он потом в небесной канцелярии жалится, – сказал Ерыкалов грозно, намеренно запугивая Кольку.

– Понял? – спросил у Кольки Мрыхин, вынимая пистолет и ставя его на боевой взвод.

– Откуда начнем? Давайте – с того края, и так весь остров вдоль и прочешем, – предложил Баранников, отходя с Костей и Ерыкаловым от церковной паперти. – Валет! Валет! – позвал он отставшую собаку. – Ну-ка, Валет, потрудись, оправдывай расходы! Охотников из нас с тобой не вышло, так давай уж... Это что там такое? – прищурился он на ивняковые кусты, трепетавшие мелкой листвой на самой кромке берега. – Лодка?

Ерыкалов, треща ветками, полез в заросли.

– Эту лодку я знаю! Это художникова лодка...

– Какого художника?

– Да Мухаметжанова Валентина. Какого я вам приводил...

– А! – обрадованно воскликнул Баранников. – Ну, вот все и правильно! На этой лодке Колька сюда и переехал. А дедову лодку он отпихнул, чтоб на деда тут и намека не осталось... Ох и Колька! Потрудился же парень, поработал! Но вот с бабкой... с бабкой как произошло?

– А была она вообще-то в эту ночь тут? – спросил Костя, прыгая за Баранниковым по выпирающим из косогора валунам.

– А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было? – быстро взглянув на Костю, рассмеялся Виктор. – Была, была бабка тут в эту ночь. Загляни в сторожку – убедись. И сама по себе отсюда она деться никуда не могла, лодки у нее не было... Да, Ерыкалов? Не было?

– Не было, – ответил всезнающий Ерыкалов. – Если переехать, так всегда ждала, чтоб кто подвернулся. Какой-нибудь рыбак, например... Я сам ее сколько раз перевозил.

– Тут она, тут где-нибудь! – уверенно сказал Баранников, почти бегом трусая по каменистым склонам, – Вот так же небось, вроде деда Ильи...

– Но почему он, такой здоровенный детина, так мелко запрятал труп? И лопату там же бросил...

– Видишь, тут же всюду камни, почва наносная, несколько вершков. А лопата – это просто упущение. Когда столько понатворил и в башке туман...

Пожалуй, один Ерыкалов да еще Валет занимались исследованием местности со вниманием; Костя, слишком взволнованный, лишь скользил вокруг глазами, а Баранников так и вовсе, хотя и глядел, но вряд ли что видел даже у себя под ногами. Сейчас ему было не до поисков. Душа его ликовала: такого преступника поймать!

– Илья Мязин, конечно, в этом я уверен теперь совершенно, вот когда сам увидел грибоварню, сколько до нее от города, какая дорога... Там что – яма? Ерыкалов, взгляни!.. Илью Мязина, я говорю, в этом я полностью уверен, – с главной роли надо снять... – торопясь поскорее закрепить в словах вибрирующие в нем мысли, скороговорочкой стрекотал на ходу Баранников. – Мог ли он, если б даже пошел сразу же за тобой, прийти одновременно? Потом тут же вернуться и быть на месте к приходу первых сдатчиц... А узнав про пожар, протопать до города снова. А днем, мы знаем, накануне, он уже совершил этот путь дважды! Деду почти восемьдесят. Лошадь, я уверен, и та не вынесла бы такой марафон... Скорей всего, именно так и было: он ничего не знал, услышал про пожар уже утром и сразу же кинулся на пожарище – в печке-то золото! Небось уже простился с ним, а печка-то, глядь, стоит! Представляешь, что у него внутри делалось, когда он вокруг печки ходил, вот когда ты с ним утром на пожарище повстречался? Попробовал он, так сказать, печку за собой закрепить – не вышло. Тогда дождался вечера, вынул золотишко и – сюда, хоронить у Таифы. Не в городе же! Инстинкт волчий – тут верней, укромней... А тут уже Колька! Афанасия Трифоныча, конечно, он тюкнул, других мнений быть не может. По родственному наущению... Деньги, что при нем, очень возможно, что и аванс за исполнение этого дела. Каков он малый – сам видишь. Как он золото хватал! Такой ради денег на что хочешь пойдет. Примитивизм предельный... В ученье едва-едва дополз всего до пятого класса. Даже никакого ремесла не осилил. Только и вышел из него рабочий на сплаве, а там ведь – абы руки да ноги... С деньгами мы еще разберемся. Возможно, у Афанасия Мязина стянул, – пенсию тот получал приличную, наверное, накопленница кое-какие имелись... А потом, значит, так: он ведь, чтоб вне подозрений быть, заранее разгласил, что его в эту ночь в городе не будет, – он сюда и драпанул. Место укромное. Разговор-то с дружкой Валентином какой у него был? «Вот обделаем это дело, богаты будем, ух! Ты только карбас к месту пригони. После полуночи, да так, чтоб никто не заприметил!» Вот он, этот карбас художников, – в кустах! Приплыл он сюда еще в ту ночь, конечно. Это он врет, скотина, что вчера вечером. Ну, да сознается еще! Конечно, по дурости мозга его не сработала,

как надо: ему не сюда бы, а куда-нибудь, где люди, чтоб его видели, могли потом подтвердить. Но его не разум – примитивный инстинкт двигал, тот, что у животных: нашкодил – значит, подальше с глаз, забивайся в тайник, в укромную нору, в щель, сиди и переждидай... И вот, представляешь, примерно в то время, когда мы на грибоварне кабанов пугали, сюда со своим золотишком заявился еще один тать, Илья Николаич... Темень, пустынный остров, пустынная река... При такой романтической обстановке и встретились дедушка и внучек. Внучек, поскольку рука у него еще не остыла, раздумывать и колебаться долго не стал... А Таифу, я так думаю, он еще раньше на тот свет спровадил. Лопата-то возле Мязина брошена... Про пожар Таифа слыхала, а увидев тут Кольку, могла сообразить, чьих рук этот пожар. Он это понял, испугался: выдаст, старая ведьма! Вот тебе и вся история! – заключил Баранников. – Ну, что, лейтенант? – окликнул он Ерыкалова. – Ничего? Идемте-ка опять в церкви пошарим повнимательней... Детали, конечно, уточнятся, – бросил Баранников Косте через плечо, скорее всех направляясь к темной гуще деревьев, в которой прятался храм. – Еще многое надо уточнять. Но за схему я ручаюсь! Знаешь что? – остановился он, озаренный новой мыслью. – Я про этот случай в журнал «Советская юстиция» напишу. Представляешь, какая громкая получится статья! Случай-то какой небывалый! И так и назову: «Трижды убийца»! Как, ничего, а?

Стеклянный глаз

Осатаневшее солнце пылало над городом. Его отвесные лучи яростно пронзали чахлую листву городского сада. На раскаленный колокол радиорепродуктора страшно было смотреть: казалось, еще немного – и он не выдержит, начнет плавиться, обтекать огромными, с хорошую дулю, серебряными каплями.

И верно: до сих пор угрюмо молчавший, он вдруг всхлипнул, издал какой-то страдальческий звук, но, как бы одумавшись в ту же минуту и взбодрясь, словно в насмешку над раскисшими горожанами, весело, залиvisto рявкнул: «Нас утро встречает прохладой»...

Жара загнала Костю в самый дальний уголок сада, за цирковые конюшни. Он было хорошо устроился в холодке, но вскоре огненные копыта солнца достали и сюда, заставили пересечь на другую скамейку, потом на третью... Становилось похоже на игру в пятнашки: он убегал, солнце догоняло. В другой раз это, может быть, показалось бы и весело, но сейчас Косте хотелось посидеть в покое, собраться с мыслями. События, образы минувшей ночи теснились, проплывали в воображении: вокзальный ресторан, князь Авалиани, ноги Мировицкого, рассветные сумерки в лесу, сказочный островок, рука, торчащая из земли, рассыпанное по полу золото, Колька... Наконец, этот жирный старик в залатанном тулупе... Все наплывало, перемешивалось, создавая огромный запутанный клубок не одного, а нескольких преступлений, над распутыванием которого сейчас изнемогал Витька Баранников, ошавевший от бессонных ночей и множества мыльными пузырями лопающихся версий.

Час назад Костя присутствовал при допросе Николая Чунихина. Парень путался в показаниях, виллял, фальшивил, явно желая увести следствие куда-то в сторону от позавчерашней ночи. Он все напирал на то, что гулял в Шарапове у Алки-парикмахерши, был пьян, ничего не помнит, ничего не знает...

И все это соответствовало истине. Шарапово находилось не за горами, оперативники собрали исчерпывающие сведения о тамошних Колькиных похождениях. Упомянутая Алка подтвердила, что Колька ночью действительно гулял у нее, но... с двух часов ночи и до утра, затем спал весь день.

А что же до двух?

Вот тут он нес несусветную околесицу и путался так, что на него жалко и гадко было смотреть. То по его рассказам выходило, что он, опоздав на катер, вернулся домой и завалился под сараем спать, то – когда Баранников напомнил ему о том, что накануне сговаривался он с Валентином Мухаметжановым насчет карбаса, – будто бы ездил на Черный Яр ставить сети...

Вызванный снова на допрос Валька под шквальным огнем баранниковских глаз, припертый к стене, показал, что на карбасе отвозил Кольку по каким-то его надобностям в деревню Васильевку. В Васильевке же нашлись люди, видевшие Чунихина в первом часу ночи.

Получалась неразбериха.

– Слушай, может, пойдём позавтракаем? – предложил Костя Баранникову, когда тот был уже совершенно измучен допросами, телефонными звонками и всей той путаницей, которая не только не думала распутываться, но с каждым часом запутывалась все больше и больше. – Право, пойдём... Развеешься, отвлечешься... Ей-богу, этак ведь и загнуться недолго!

Баранников сидел, откинувшись на спинку стула, прикусив нижнюю губу, совершенно отсутствующим бессмысленным взглядом уставясь в какую-то, одному ему видимую точку.

– Ну? – решительно поднялся Костя. – Как это у вас тут говорится – айдате, что ли?

Баранников безмолвствовал. И только тут до Кости дошло, что его друг спит...

Подивившись такой редкой способности спать с открытыми глазами, Костя на цыпочках вышел из кабинета.

Возле комнаты дежурного по райотделу он приостановился. Какой-то жирный, похожий на бабу, безбородый старик, одетый, несмотря на жару, в залатанный овчинный тулуп, пытался внушить милиционеру, что ему крайне необходимо видеть «главна начальничкам».

– Моя, бачка, сама помират скоро... Сама скоро могилкам гулял... Ну? Зачим могилкам пакустил, железкам хоронил? Пятеркам давал – молчи! Мени, бачка, за пятеркам – шайтан купишь! Давай, пожалуйста, укажи: до сама главна начальничкам какой дверь ходить?

На улице, по дороге в кафе и там, за классическим полуостывшим гуляшом, образ жирного старика в тулупе с его смешной скороговоркой назойливо вертелся перед Костиными глазами. Костя даже с некоторым раздражением подумал о своем умении легко вбирать в себя увиденное, да так накрепко, что, случалось, по суткам и больше не в силах был оторваться от застрявшего в памяти ни к чему не идущего пустяка. Вот как этот старик, например...

Из кафе он зашел на почту, спросил, нет ли для него до востребования. Оказалось, что есть. Письмо было от Максима Петровича.

На почте толклись люди, духота стояла, как в бане. Костя решил найти прохладное местечко, почитать послание милейшего Максима Петровича не спеша, в холодке. Таким образом он и очутился в саду, на задворках кугуш-кабанского цирка, где, некоторое время поиграв с солнцем в пятнашки, углубился наконец в чтение Максим Петровичева послания.

В письме не было решительно ничего значительного, старик просто, видимо, соскучился по Косте. Спрашивал о здоровье, о самочувствии, скоро ли вернется домой. В связи с последним – равнодушно, мельком справлялся о результатах поиска проходимца Леснянского, добавляя при этом, что «Извалиха покою не дает, надоела ужасно». В конце же письма советовал не очень-то возиться в Кугуш-Кабане: смехотворная история с Извалихой не такая уж государственная важность, дела напирают посерьезнее. Ну и, разумеется, поклон от Марьи Федоровны с наставлением Косте «избави бог, не испортить желудок, избегать ресторанов, а всего бы лучше, чтоб покупал на рынке картошечку да и отваривал бы себе сам в общежитии или где он там остановился...»

«Да, да, видно, и вправду нечего мне тут попусту время терять», – подумал Костя, пряча письмо и улыбаясь наставлениям Марьи Федоровны, несколько опоздавшим, потому что после вчерашнего идиотского пиршества действительно что-то посасывало под ложечкой и во рту все еще чувствовался гнусный сивушный привкус выпитой с князем водки.

– Гамарджоба, кацо! – раздался над самым ухом знакомый голос, и тень грузинского князя заслонила солнце. – Как жизнь, дорогой? Зачем такой печальный? Тете привет передал?

Костя вздрогнул, поднял глаза. Арчил довольно грязным платком вытирал лоб, что-то жуя, видимо, тоже только что перекусив и немного выпив. Его хищное лицо сияло довольством, белые зубы сверкали в черной заросли всклокоченной бороды.

– Голова болит, дорогой? Ва! Пустяки. Полчаса обожди, так сделаем – голова не будет болеть... Скажи пожалуйста, какая жара, совсем Кавказ! Ва?

– Эй, Арчил! – позвали его униформисты, возившиеся с большим манежным ковром. – Долго ты еще прохлаждаться будешь?

– Ва! Что за народ! Грубый народ!.. – гневно сверкнул глазами Авалиани. – Полчаса, дорогой! – похлопал он по плечу Костю. – Сиди тут, пожалуйста, ожидай... Пойдем лечиться, кацо...

Он снова вытащил платок, вытер пот со лба, с шеи и смешной трусцой побежал к товарищам, поджидавшим его, чтобы поднять и нести тяжелый ковер.

Какой-то небольшой, похожий на пуговицу, круглый, блеснувший на солнце предмет, видимо, вместе с платком захваченный из кармана, упал на раскаленный песок дорожки и покатился к Костиным ногам...

– Ай, нехороший ты человек! – бушевал Арчил, берясь за ковер. – Зачем не дал с другом поговорить?

– Давай, давай! – посмеивался тот униформист, что позвал Арчила. – Тебе бы все языком трепать, а мы за тебя ишачь!

Костя нагнулся, отыскал взглядом оброненный Арчилом предмет и оторопел: прямо на него, закатившись в небольшую вмятину песчаной дорожки, пристально, в упор глядел... темно-карий стеклянный глаз!

Стоп!

Это было так неожиданно, что Костя даже зажмурился, как он это делал мальчишкой, чтобы удостовериться, что увиденное – не сон, не обман зрения, а самая настоящая действительность.

Глаз глядел на него серьезно и значительно, совершенно как живой. На мгновение Косте даже показалось, что эта стеклянная тварь подмигнула ему.

Это уже получалась форменная чертовщина, нечто прямо-таки гофмановское...

Он поднял с дорожки глаз.

«Ах, он был, знаете ли, очень, очень интересный мужчина... Даже, знаете ли, искусственный глаз его не портил нисколько, – очень великолепно выглядел, как настоящий! Жорик говорил, что выписал его из Лондона...»

Да, но какое отношение лондонский глаз Георгия Леснянского имеет к грузинскому князю Арчилу Авалиани?..

Стоп!

Костю точно шилом кольнуло. Он вскочил, бережно завернул свою диковинную находку в носовой платок и, крепко зажав его в кулаке, быстро пошел из сада.

Он шагал по улицам, весь уйдя в себя, в свои мысли. ничего не видя и не слыша. Еще не вполне уверенный в правильности своей догадки, блеснувшей из всего того, что стремительно пронеслось у него в голове (писклявый голосок Изваловой, навязчивая дружба Авалиани, сеньор Пазиелло с его ножами, вчерашний обед в кафе, где за соседним столиком сидел поразивший его необыкновенным сходством с грузинским князем молодой человек – кладбищенский художник Мухаметжанов), он знал твердо одно: Авалиани – это маска, ширма. Человек, выдающий себя за Арчила Авалиани, на самом деле есть кто-то другой, скрывающий свое собственное имя...

И вот тут-то Костя отчетливо вспомнил ту интонацию, о какой этот человек, расставаясь с ним ночью после ресторана, передавал привет тете...

Интонация была явно издевательской.

– Георгий Федорович Леснянский! – вслух, довольно громко произнес Костя, словно слепой наткаясь на какого-то солидного гражданина, стоящего возле киоска с горячими пирожками.

– Вы обознались, – прощамкал набитым ртом гражданин, тараща глаза и переставая жевать.

– Обознался? Нет, не думаю, – вежливо ответил Костя, рассеянно улыбаясь озадаченному пожирателю пирожков.

Две телеграммы

Если бы с той минуты, как Костя покинул городской сад, сжимая в потной ладони свою находку, и далее в течение всего дня возле него находился наблюдатель, сопутствующий ему во всех его перемещениях по городу, и если бы этот наблюдатель не был посвящен в смысл Костиных действий, а только бы следил за ним со стороны, он, вероятно, не понял бы ничего, даже если бы ничего не пропустил, – настолько для стороннего глаза Костины поступки представились бы странными, необъяснимыми и лишенными видимой связи.

Прежде всего Костя направился в городскую милицию и с помощью милицейского начальства деликатно вызнал у директора цирка, кто поступал к нему на работу в последние месяц-полтора. Директор справился у своей секретарши и назвал несколько фамилий. Среди разных других имен он назвал и Арчила Авалиани.

Ни о чем больше расспрашивать Костя не стал. Из милиции он мотнулся в местный музей по истории края и озадачил сотрудников, пожелав видеть материалы, относящиеся к прошлому кугуш-кабанского цирка. Цирком музей не занимался и никаких материалов о нем не хранил. Сконфуженные сотрудники для своего оправдания достали даже какую-то директиву с печатями и подписями, предписывающую им программу действий – на что направлять внимание, что собирать. Цирк в директиве не значился.

– Может быть, в городе есть какие-нибудь знатоки местной жизни, памятливые старожилы? В каждом городе непременно есть такие...

Нет, и знатоков музейные сотрудники не могли указать. Знатоки тоже не были обозначены в директиве.

К счастью, этот Костин разговор с музейными работниками слышала старушка кассирша, продававшая у входа билеты, брошюры на плохой бумаге, главным же образом занятая вязаньем шерстяного носка.

– А вам что, собственно, нужно? – спросила она, не переставая мелко и быстро шевелить спицами.

– Небольшая справка: гастролировал ли в Кугуш-Кабане такой цирковой артист – Джованни Пазиелло, и когда это было...

– Пазиелло? Ну, как же, помню! Фокусник? Змей изо рта вынимал. Я же тогда в цирке билетершей служила. Только это было очень давно...

– А все-таки?

– Это можно высчитать. Леночка родилась у меня в двадцать шестом, и в тот же год я в цирк поступила... А Пазиелло приезжал либо в двадцать седьмом, либо в двадцать восьмом... Какой красивый был мужчина! Женщины ему цветы дарили, сами назначали свидания... У него здесь даже история приключилась. Муж одной женщины подстерег их и чуть не застрелил обоих из пистолета!

Костя мысленно прикинул: двадцать седьмой год... Да, соответствует вполне...

– А не помните ли вы такой его номер – с ножами?

– Как же не помнить! Кто-нибудь из зрителей непременно в обморок падал. Я так, например, смотреть не могла, всегда отворачивалась...

– Мне говорили, он с мальчиками этот номер проделывал. Это его мальчики были?

– Зачем его? Нанимал. Из наших, местных. От охотников отбою не было. По три рубля, однако, за каждый раз платил. В те времена это, знаете, какие деньги были!

Фантастическая надежда вдруг затеплилась у Кости.

– А не помните ли вы кого-нибудь из тех мальчиков, что выступали с Пазиелло?

– Ну, что вы! Столько лет... Да я и тогда не знала.

Костя поблагодарил и откланялся.

В замысле у него было еще одно мероприятие.

– Укажи мне какого-нибудь настоящего стопроцентного грузина, – попросил он Баранникова, позвонив из уличного автомата.

Виктору, чувствовалось, было некогда, в кабинете его находились люди, и, отвечая кое-как Косте, он разговаривал еще и с теми, кто был в его кабинете.

– Что значит – стопроцентного?

– Ну... чтоб знал язык, мог поговорить с другим грузином.

– Иди на базар, там их во фруктовых рядах сколько хочешь. Все кавказские диалекты, на выбор.

– Нет, это не подходит.

– Тогда погоди...

Минуты полторы телефонный провод доносил только отдаленное хлопанье дверей, невнятные голоса.

– Алло! – вместе с треском мембраны возник в трубке голос Виктора. – Вот тут один знающий человек подсказывает – у городского военкома шофер грузин. Солдат. Имеешь представление, где военкомат?

Военком понял Костю быстро.

Так же быстро понял Костю и Суликó – очень приятный, живой кареглазый парень, на удивление – без непременных усиков.

– А почему ты Сулико? – заинтересовался Костя... – «Где же ты, моя Сулико...» Это ведь женское имя?

– Как хочешь можно – можно женское, можно мужское. Это просто нежное имя, У нас все имена нежные.

– Вот как! Какой вы нежный народ... Так вот, Сулико, – повторил Костя, – когда ты его разыщешь, скажи – земляка, мол, ищу, дзмобилю, – так, кажется, по-вашему звучит? Сказали мне, мол, с моих мест есть тут человек... Ну, и поговори с ним. По-грузински, конечно. Вот и все. Ясно?

– Задание понял! – улыбаясь во все свои ослепительные зубы, шутливо козырнул Сулико.

Когда он вернулся, на лице его было смущение.

– Видел? – спросил Костя нетерпеливо.

– Видел.

– Говорил?

– Говорил.

– Ну, что?

Сулико развел руками.

– Понимаешь ли...

– Ты мне одно скажи: грузин он или не грузин?

Сулико затрудненно замялся, опять развел руками.

– Говорить он может обо всем... Речь у него правильная. Почти правильная.

– Значит, все-таки неправильная?

– Понимаешь ли, трудно сказать... В нашей местности так говорят, а чуть подальше – немножко не так говорят... Наша страна маленькая, а разницы много. Два города, две деревни рядом стоят, а люди уже не такие немножко...

– Но все-таки, какой можно сделать вывод?

Сулико задумался. Он понимал, как важно его слово, и не хотел ошибки.

– Я бы сказал так: сказать, что он совсем грузин, – я бы не сказал... Может, он жил в Грузии долго? Если там русские долго живут – они совсем как грузины бывают. Для не грузина – он, конечно, грузин. Для грузина – он, конечно, не совсем грузин. Вот так бы я сказал!

Наступила очередь задуматься Косте.

Результатом этих размышлений было то, что через полчаса с кугуш-кабанского телеграфа в далекие Подлипки на имя начальника районного угрозыска Максима Петровича Щетинина полетела телеграмма с просьбой срочно, самолетом, отправить в Кугуш-Кабан гражданку Извалову, истицу и потерпевшую по делу Леснянского Г. Ф.

И с такою же точно просьбою – срочно прибыть в Кугуш-Кабан – пошла еще одна телеграмма, но уже в ближнюю местность, в пригородный пионерский лагерь «Уральское солнышко», к поварихе этого лагеря Елизавете Петровне Мухаметжановой.

Конец князя Авалиани

Итак – все рушилось.

Здоровье пошаливало: сердцебиение, печень, по утрам неприятный шум в голове, точно в каждое ухо вставили по огромной морской раковине. Лоб и виски стянуты железным обручем. Излишняя потливость – опять-таки сердце...

Укатали сивку... что?

Крутые горки. Вот что.

Вай, генацвале! Сколько ни катать...

В черно-синей воде маслянисто сверкали, вздрагивая, лениво переливались с бегущей звенящей струей голубые звезды. Черные лодки, как попало приткнувшись к пустынному, заваленному мокрыми бревнами берегу, стояли, как стадо каких-то невиданных бокастых чудовищ, сбившихся в кучу на ночевку.

Арчил сидел на носу старого полузатопленного карбаса. Корма грузно опустилась на дно, была невидима. Лишь легкие бурунчики течения, натываясь на нее, смутно обозначали ее очертания.

Все рушилось к чертовой матери!

Вкус к шумной, деятельной жизни притуплялся с каждым днем. Похождения последних десяти лет отравили начисто и душу, и тело. По роду занятий приходилось встречаться с человеческой дрянью, с исключительно вздорными и глупыми людьми, и все десять лет играть, играть...

Боже, какие только роли не переиграны! Золотоискатель-геолог из Якутии. Магаданский строительный прораб. Профессор, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии. Народный артист Мордовской АССР, тоже лауреат, кажется... Наконец, инженер. Ничего, и это сошло преотлично.

И вот – князь...

И почему-то черная вода, черные лодки, влажный залах древесной гнили, колеблющееся сияние звезд...

А может, он и в самом деле – великий актер?

Может, так вот, понапрасну, почти шутя, растратил себя на пустяки, а мог бы потрясать сердца людей!

Ну, да что теперь об этом. Теперь о другом надо, о важнейшем.

О собственной шкуре.

Как это он давеча сразу не догадался, что его прощупывают! Пришел какой-то лопух, солдат. «Ва! – говорит. – Видал тебя на представлении, обрадовался – земляк... Откуда, кацо?»

Ну, земляк и земляк. Пошла беседа, пошли расспросы, воспоминания. Спасибо, ребята все окликали: «Арчил, принеси то, Арчил, убери это!» Насилу отделался от настырного земляка. И лишь близко к вечеру осенило – что за «земляк»... Допер, что подослан легавыми. Сомнений не оставалось: долговязый в Кугуш-Кабане – из-за него...

Ишь ты, к тете в гости приехал, сволочь!

Вот взять бы сейчас из реквизита жонглеров Христофоровых один из ихних тяжелых ножей да кинуть в то раскрытое окошко на первом этаже, где прохлаждается у мифической «тети» этот длинноголявый. Так, чтоб до половины вонзился в межглазье...

Как некогда сеньор Джованни учил.

Без промаха.

Кремлевские куранты проиграли где-то далеко, в городе. Ну, что ж, можно и собираться. А пока...

Арчил выливает в глотку полбутылки «зверобоя». Мысли делаются яснее, отчетливее.

Хорошо ли, так ли он сделал, что ушел из цирка, не стал дожидаться вечернего представления?

Так. Хорошо.

Черт их знает, могли бы прямо с манежа взять.

Нет, гран пардон, сеньоры! Мы еще побрыкаемся!

Поживем!

Вовремя одумался, не поперся к своей дражайшей Лизаветушке, отказался от роли отца семьи, законного супруга. Черт знает, какая чепуха пришла было в голову! Тихий домашний очаг, семейные радости... Слава богу, кто-то уже давно догадался заменить его у Лизаветиного очага.

Нет, не та роль. Совершенно не его амплуа.

А город спит... Кугуш-Кабан проклятый! Дым отечества, чтоб ему провалиться!

От лодочной пристани, через завалы из бревен, медленно, скупо расходуя силы, подымается в город.

Мысли дробно семянят, бредут за ним, словно овечья отара за чабаном. Все – старые, привычные, серые, как овцы. Но среди них вдруг появляется новая, незнакомая, мечется юркой змейкою: «Это, мол, еще, кацо, ничего, что жульничество, многоженство и прочее такое... А вот ну как дознаются, что из мязинского окошка третьеводни ты вылезал?..»

Это в первом часу ночи-то! А что? Свидетель имеется... Вот покажет на тебя следователю, тогда и младенцу станет ясно, кто Афанасия ухлопал...

Шарахнулись мысли-овцы от этой новой, что от волка, и все кто куда разбежались, только пыль пошла. Одна эта – возле.

Фу, черт, крутенька гора... А спешить надо – минуты считаны.

У городского сада, однако, замедляет шаг, прислушивается. Тихо. Осторожно, крадучись, проникает через заднюю калитку в тот дальний угол, где темным шатром возвышается над деревьями цирк.

Так...

Сейчас – быстро, бесшумно – в конюшню, в клетку, служившую ему последние недели уютным ночлегом.

Багаж невелик. Засунуть в чемоданчик засаленную, со свалявшейся ватой подушку – и все.

Тускло горят угольные лампочки.

К чертям иллюминацию!

Поворачивает ручку рубильника – и все погружается в чернильную темноту.

Ощупью, вдоль стены идёт к клеткам. Зеленовато поблескивают во тьме глаза невидимых зверей.

Вот клетка пантеры.

Львицы.

Цезаря.

Вот наконец и его...

Где-то в стороне манежа слышны шаркающие шаги, голоса. Это ночной сторож переговаривается с пожарником, отчего погас свет.

Действовать! Действовать!

Самолет отбывает на рассвете, около трех. Каких-нибудь пятьдесят минут – и он в Перми. К его услугам быстроходные воздушные лайнеры. К его услугам – весь мир.

Он еще не знает, где будет завтракать: в шумной ли Москве, в прохладной ли тишине Сочинского морского вокзала...

– Будь здоров, долговязый! Гамарджоба, дорогой! Тете привет не забудь, пожалуйста!

Нащупав, он откидывает дверную задвижку, уверенно входит в клетку и, как обычно, по привычке сразу же запирает за собой дверь.

Но в это мгновение на него бесшумно обрушивается что-то невероятно тяжелое, огромное, косматое...

И он теряет сознание, даже не вскрикнув.

День четвертый

Хмурое утро Баранникова

Электрический кофейник тоненько свиристел. Из носика его поднималась туманная струйка пара.

Горела настольная лампа, хотя уже совсем рассвело и свет ее был не нужен.

Виктор, нахохлившись, с красными опухшими веками, сидел за столом и как-то равнодушно, сонно созерцал свои карточки.

– Ты хоть поспал? – спросил Костя, с самой настоящей жалостью всматриваясь в серое лицо друга.

– Да почти нет... – пошевелился Виктор, прерывая свое оцепенение.

Он потушил лампу, потянулся к кофейнику.

Костя сел на диван, потер виски. Он хотя и спал, улегшись рано, решив добрать за предыдущую ночь, но отдыха не получилось. От переутомления его непрерывно что-то томило во сне, он чувствовал ломоту усталого тела, неудобство диванных пружин. К тому же он все время ждал, что придет Виктор, и чуть ли не каждую минуту ему казалось, что тот уже пришел, старается открыть ключом дверь, а капризный замок не открывается; Костя приподнимал голову, прислушивался, но оказывалось, что это просто обман слуха: либо на кухне урчала в трубах вода, либо ветер раздувал оконную занавеску, и она шуршала, задевая за раму.

Потом присоединилось новое беспокойство. В него вошло, что, пока он лежит, тот человек, которым он был занят весь день и который и сейчас, даже во сне, все равно составляет главную его и непотухающую мысль, главную его заботу, где-то уже далеко от него и уходит все дальше, дальше, а это нельзя допустить ни в коем случае, а надо встать и следовать за ним, иначе будет поздно... И он в тревоге вставал и торопился, бежал – почему-то по валунам, как там, на речном острове, на котором они с Виктором искали бабку Таифу... Валуны круглились, как гигантские яйца, преграждали путь. Одолевать их было трудно, пот тек по лицу и щипал глаза... Но вдруг оказывалось, что он никуда не бежит, а все в той же комнате, та же оконная занавеска шуршит по раме, и, преодолевая бессилие, в еще большей тревоге он вставал снова и на подламывающих ногах снова бежал и карабкался по гладким валунам, похожим на гигантские яйца...

Из-под стола вылез Валет, раскрыл пасть, зевая, встряхнулся. Уши его захлопали, получился звук, совсем как аплодисменты. С того часа, как его взяли из квартиры и повезли с собою на поиски деда Ильи, он находился при Викторе безотлучно и был явно доволен этим. Но и по Косте он соскучился: ткнулся мордой ему в колени, лизнул руку, вспрыгнул на диван и сделал попытку лизнуть в лицо. Мягко, но решительно его пришлось согнать.

– Блажен не начавый, но скончивый, – так, кажется, говорили наши предки? Можно поздравить? – спросил Костя.

Баранников, хмурясь, дуя на кофе, допил до конца чашку.

– Все полетело к черту! – сказал он мрачно.

Вихры его, которые он забыл пригладить после лежания на диване, топорщились в разные стороны. Они были совершенно мальчишечьи, выражение же всей фигуры, особенно лица и глаз, – сурово-мрачным, и это соединение противоположных черт во внешности придавало ему несколько даже комический вид. Он казался несправедливо обиженным мальчиком, а не взрослым мужчиной. Бескормица этих дней отразилась на нем таким образом, что нос его укрупнился, выделился на лице, стало заметно, что форма его слегка утиная, и это тоже выглядело забавно и комично.

– То есть как – всё? – не понял Костя. – Так-таки абсолютно все?

– Я как тот рыбак, что одну только воду в сеть захватил: тянул – надулось, а вытянул – ничего нет...

– Не может быть. А Колька?

– И Колька ушел. Да ты что – не то вправду мне не веришь? – взглянув на Костю, даже рассердился Баранников. – Я не шучу, вполне серьезно.

– Подожди, – проговорил Костя растерянно, – ведь так все складывалось...

– Складывалось! А сложилось – и вышла фига! Вот, пожалуйста, можешь убедиться... Мировицкий! – схватил он со стола одну из карточек. В порывистом его движении проглянула какая-то сложная досада. Похоже, он был недоволен сразу многим: фактическими обстоятельствами, ставящими Евгения Алексеича «вне игры», самим Евгением Алексеичем, который – увы! – не подтвердил имевшихся у Баранникова ожиданий, собою – за то, что имел эти ожидания и в какой-то степени даже в них верил, а они оказались насквозь ошибочны... – Ну, про Мировицкого тебе известно все!

Как бы совершая официальный акт, Баранников порвал над столом карточку Мировицкого и обрывки бросил в мусорную корзину.

– Гелий Афанасьевич! – взял он вторую карточку. – Ах, жаль, что не я разбираю это его дело со взятками, – сказал он с чувством. – Я бы его так не выпустил, прищемил бы ему хвост крепко и надолго... Каков оборотень! А спекулянтство словами какое! Стошнить может... Он себе шею еще сломает. Но к этой истории, к сожалению, его не пристегнешь: оказывается, в эти самые часы был у любовницы... Сорок с лишним лет, член того и сего, а влезал и вылезал через окно, как вредный кот. Порвал даже о гвоздь брюки, расцарапал руку... Член лекторской группы, читает доклады «Моральный облик советского человека», а собственный сын вырос оболтусом, разгильдяем. Ученый папа, наставляющий других, как правильно жить, как себя вести в обществе и в семье, сыну своему ничего доброго не привил, нисколько им не интересуется, и теперь это его чадо придется, видать, устраивать в школу-интернат, чтоб не сбился с пути окончательно...

Разорвав карточку, Баранников взял из своего пасьянса сразу две.

– Писляки. Митрофан Сильвестрыч и его благоверная Антонида Трифоновна... Под судом и следствием не состояли, родственников за границей нет, в оппозициях и отклонениях не участвовали – и тэ дэ, и тэ пэ... Одним словом, по анкетным данным – самые обыкновенные, нормальные граждане. Помнишь, как Писляк тут сидел? Сама чистота, сама честность и святость. Непогрешимое должностное лицо, преданное своему должностному долгу... А знаешь его истинный род занятий?! Спекулянт крадеными стройматериалами! С многолетним стажем! Его же подручный его и продал. Этой его кипучей второй деятельностью придется заняться основательно. Но из дела Мязина он тоже выпадает – алиби, черт побери! В ночь убийства, именно в эти часы, действительно был занят на своем «производстве»: принимал от одного жулика свинцовые белила и продавал другому облицовочную плитку... И продавца, и покупателя нашли, показания их – вот... – коснулся Баранников плотно набитой папки.

– И ты все это так скоро распутал? – не сдержал Костя своего удивления.

– Не только это. Да что толку! – нисколько не тронутый Костиным восхищением, безрадостно отозвался Баранников.

Разорванные карточки Писляка и Антониды Трифоновны полетели в корзину.

– Елизавета Петровна Мухаметжанова... Находилась вне города, и посему ее туда же, к Пислякам... Олимпиада Трифоновна. Ну, это, я тебе скажу, персонаж! Чудо двадцатого века! Доставила она хлопот... Живет на людном вроде бы месте, сотни глаз ее видят ежедневно, но – всем видна и в то же время человек-невидимка! Спасибо Келелейкину, он нам занавесочку приоткрыл: знахарка она, действительно, самая настоящая, шаманит над больными за деньги. Да еще за какие! Прошлой ночью застал ее в своем доме. В ночь убийства она тоже там шаманила, галиматью какую-то читала над девчонкой. Довела, стерва, до того, что врачи теперь за ее жизнь ручательства не дают! Не посмотреть бы, что старуха преклонная, вкатить бы ей полный срок по двести двадцать первой – за эту ее художественную самодеятельность...

Пасьянс на столе уменьшился наполовину.

– Илья Николаич Мязин... Из всех предполагаемых поступков доказанным можно считать только один – хищение золотого клада. Между прочим, знаешь, во сколько оценивается это золото? Банковские спецы подсчитали: широкоэкранный кинотеатр можно построить! Спасибо Илье Николаичу!.. Яков Мухаметжанов. Присутствие в городе не установлено, хотя розыски были самые тщательные. Валентин Мухаметжанов и Николай Чунихин...

– Ну-ка, ну-ка, что же с Колькой? – весь обратился во внимание Костя.

– А с ним вот что... Колька, конечно, на волю не выйдет, но судить его будут не за это дело, а за другое. В ту ночь он в Васильевке казенный плот продал.

– Плот? Каким образом?

– И, между прочим, не первый. На Валькиной лодке близ полуночи они отчалили пониже города, от лесоскладов. Как ни таились, а их все-таки видели. Сторож складской видел и обоих узнал. Недалеко от Васильевки они дождались идущий сверху катер с плотами, сговор с плотогонями у Кольки был сделан заранее – это все дружки его и собутыльники, – им отцепили секцию, они ее отбуксировали в Васильевку, а там их уже ждал покупатель, – тоже заранее сговорились. Валька погнал карбас обратно, а Колька получил деньги и пешком отправился в Шарапово к своей девахе. С покупателем он перед этим крепенько выпил, выпил и у Алки своей. Там были и другие гости. Колька даже пошумел там малость, заехал одному шараповскому по скуле. А потом дрыхнул и заявился в город уже на исходе дня...

– Постой, а как же тогда все это – остров, дед Мязин, пропавшая Таифа?

– Дед Мязин помер сам. Экспертиза установила. От мозгового кровоизлияния. Никто его не убивал и насилия над ним не учинял. И закопан он был не Колькой. Мы с криминалистами еще раз осмотрели могилу. Характер рытья, следы от лопаты, отпечатки пальцев на древке неопровержимо свидетельствуют, что рыли не мужские руки, а женские, притом слабые, старушечьи. Только Таифа и могла это сделать, больше никому. Кроме того, на земле остался след, мы с тобой не заметили в горячке... Она тащила Илью волоком, от самой своей сторожки. Тащила долго: метр протащит – и остановка. Еще метр – еще остановка...

– Но сама-то Таифа где, куда делась?

– Труп ее выловили в реке. Лодку, на какой Илья к ней с банкой своей переплывал, тоже выловили. Таифа просто утонула. Сама. Закопав Илью, вздумала переправиться с острова, по неосторожности свалилась за борт, хлебнула... Много ли ей надо? Тут ей и пришел конец...

– Ничего не понимаю! – воскликнул Костя, вскакивая с дивана и принимаясь ходить по кабинету. – Зачем ей понадобилось так его хоронить? Без людей, одной, без всякой обрядности... Что за поспешность такая? Без соблюдения необходимых формальностей! Зачем ей было тут же куда-то ехать с острова?

– Формальности ему! – Баранников, полностью чуждый сейчас всякой веселости, однако даже улыбнулся половиною лица. – Ты местных людей и местные нравы не знаешь. Пожил бы ты здесь хоть полгода, такие вопросы не задавал... Таифа старообрядка, ты это понимаешь? А у старообрядцев такое в головах, что самому дьяволу не под силу разобрать. До сих пор еще есть такие кондовые, такие допотопные – никаких обычных человеческих норм, даже государственных установлений не признают и знать не хотят. Родится, например, ребенок, они его сами там как-то окрестят, имя ему дадут, а в загсе записать и не подумают. Человек фактически живет, а нигде не обозначен, будто его и нет вовсе. Так вот и Таифа. Поди теперь, узнай, что темный ее ум, темная ее вера в ту ночь ей шептали... Однако сделала она так, как сделала, это факт, и факт несомненный...

– Уверен же ты! Ты ведь и в том, что Колька троих убил, тоже был крепко убежден.

– То была гипотеза, а теперь точно установленные факты, подтвержденные экспертизой.

– А как же объясняется то, что банка с монетами попала в церковь, в Колькины руки? Как сам Колька туда попал?

– Таифа прятала ее в колодец. Помнишь, крышка была приоткрыта? На крышке, на железном кольце этой крышки – отпечатки ее пальцев. На тумбочке возле колодца – огарок свечи остался. Это она прилепила, на нем тоже отпечатки ее пальцев. На замке в церковных дверях – тоже только ее. Похоронив Илью, она, естественно, должна была спрятать дедово богатство. Ведь теперь она становилась хозяйкой этого золота. Она отперла церковные двери, вошла с банкой, прилепила огарок, стала поднимать крышку – и тут ее напугал Колька, который спал за царскими воротами, в алтаре. Таифа и кинулась бежать в испуге. Да не только из храма, а и с острова, – почему двери и остались открыты, и замок с ключами в петле. А банка – на полу, как она ее поставила, когда бралась за крышку. Откуда, спросишь, это известно? Следы ее на береговом песке остались, криминалисты их, как книгу, прочитали... А в страхе своем, в поспешности, не умея обращаться с лодкой на такой быстрине, она и свалилась за борт...

– Значит, Николай говорил правду, что ни к ней, ни к деду не имеет никакого касательства?
– Выходит, так. Эти события совершились без него, пока он спал в алтаре, на досках и фанере. Там окурки его, плевки... Когда он заявился в город, случайно на улице наткнулся на Валентина, – того Ерыкалов вел в прокуратуру. Подумал, это из-за плота, открылось! Шмыганул на пристань, сбил с Валькиной лодки замок – и на остров, выжидать, что дальше будет. Но ведь, от людских глаз не спрятаться! Один рыбачок засек, как он замок сбивал и отчаливал. Значения он тогда этому не придавал – лодка Валентинова, а он знал, что Валька с Николаем дружки. Подумал, наверно, просто ключ потеряли...

– Что же это получается? – проговорил Костя озадаченно, потрясенный тем, как Баранников в каких-нибудь пять минут безжалостно и беспощадно разрушил и откинул все, что было добыто им за несколько суток с такими тяжелыми трудами. – Куча дряни, паноптикум человеческих пороков, почти каждый – так или иначе – преступник, а виновного тем не менее нет!

– Вот то и получается! – сказал Баранников удрученно.

– И кто же у тебя остался?

Одна-единственная карточка лежала на столе перед Баранниковым. Костя наклонился над столом и прочитал:

«Человек, вылезавший ночью из окна. Икс».

Черты Икса выступают из мрака

Иван Александрович Келелейкин был человек грамотный, трезвый и рассудительный, но несколько, может быть, тугодум, робковат в тех случаях, когда приходилось действовать решительно. У него всегда и речь была тихая, ровная, сдержанная, без крика, даже без заметного повышения голоса. «Иван Александрыч не говорит – читает!» – посмеивались за его спиной, но беззлобно, уважительно. Действительно, кажется, полети вся земля вверх тормашками, – и тут Келелейкин не заспешит. «Так, – скажет глуховатым своим баском, – давайте-ка, ребятушки, не лотошите, сядем-ка да обдумаем, как бы это нам за что половчей уцепиться...»

А вот тут – подите: смешался. Полные сутки не миновали – второй раз стучится в двери прокуратуры.

– Ко мне? – удивился Баранников.

– Так точно, – с какой-то немного виноватой улыбкой тихо, сдержанно ответил Иван Александрович. – Извиняюсь, что лезу с беспокойством, но желательно поконсультироваться...

Келелейкин мялся, поглядывая на Костю.

– Ничего, не смущайтесь, – подбодрил его Баранников. – Это наш работник, абсолютно в курсе дела...

Келелейкин поник скорбно.

– В том-то и суть, товарищ следователь, – вздохнул он, – что вы и сами не в полном, как бы выразиться, курсе...

– То есть?

– В жалобе на гражданку Чунихину, какую я вам вчерашний день подал, – совсем умирающим голосом проговорил Келелейкин, – есть, как бы это сказать... не полная доскональность, что ли...

– Вы хотите взять обратно вашу жалобу? – спросил Баранников.

– Ни боже мой... Но долгом считаю дополнить... чтобы, так сказать, беспристрастно... – Келелейкин вспотел даже, помахал перед лицом форменной железнодорожной фуражкой. – Дело в том, что я сам, как бы это выразиться... ну, сам, знаете, произвел расправу над Чунихиной... Ну, в общем сказать, маленько потрепал ее, коротко говоря...

– Ах, вон что! – едва удерживаясь от улыбки, протянул Баранников. – То есть, вы считаете, что, сигнализируя правосудию на противозаконные действия гражданки Чунихиной, вы и сами...

– Вот, вот! – обрадованно перебил Келелейкин. – В том-то и дело, что вот именно, тово... сами! Почему и желательно поконсультироваться: не выйдет ли так, извиняюсь, что суд,

справедливо наказав Чунихину, и мне на старости лет припечатает этакое что-нибудь, ну... за хулиганство или как там, согласно статье закона...

– М-м... – невнятно промычал Баранников, косясь на Костю и незаметно подмигивая ему. – Действительно... Но думаю, что суд учтет и ваше состояние в тот момент, и вот это чистосердечное признание в содеянном по горячности... Ничего, Иван Александрыч, – бодро закончил он, – идите, работайте спокойно. Заверяю вас, что то, чего вы опасаетесь, не случится.

– Ну, покорнейше вас благодарю! – растроганно сказал Келелейкин. – А то, знаете, на старости лет... всю жизнь ни в чем этаким не замечен, ни одного взыскания – и вдруг вот тебе...

– Ничего, ничего! – совсем благодушно, приветливо улыбаясь, сказал Баранников. – Обещаю вам, что на вашу репутацию не ляжет ни единого пятнышка... Пожалуйста, можете идти, – кивнул он, принимаясь за какие-то бумаги.

Но Келелейкин не уходил, медлил, теребил в руках фуражку.

– Вы что-нибудь еще хотите сказать? – догадался Баранников.

– Да вот, знаете... – Голос Ивана Александровича понизился почти до шепота. – Дело, знаете, такое... Уж вы извините меня великодушно, но... я ведь и по тому делу...

– По какому – тому? – Глаза Баранникова вспыхнули так неожиданно, мгновенно, как неожиданно вспыхивают вечером фонари уличного освещения.

– Да вот насчет Афанасия Трифонича... – прошептал Келелейкин. – Я тогда говорил...

– Так что? Вы говорили, что кто-то вылезал из окна мязинского дома. Так?

– Так-то так, – Келелейкин, видимо, испытывал страшные душевные терзания, – да вроде бы и не совсем так... Вы меня тогда спрашивали: а какой он? А я сказал, что будто его не разглядел... А ведь я... разглядел...

Баранников весь напрягся, вытянулся вперед, как скульптурная композиция, известная под названием «К звездам».

И даже Костя, как бы предвкушая услышать нечто значительное и даже, может быть, решающее все дело, замер, затаил дыхание и крепко сжал в кулаки сразу вдруг вспотевшие пальцы.

– Точно видел, – медленно, отдельно, словно через силу, промолвил Келелейкин. – И прошел он мимо меня прямо вот этак, рядом, плечо к плечу...

– И вы, таким образом, хорошо его рассмотрели? – подскочил Баранников.

– Очень даже хорошо. Роста вроде бы среднего, пожилой мужчина...

– Лицо! Лицо! – простонал Баранников. – Оно вам знакомо? Из местных кто-нибудь?

– Никак нет, не из местных... Но очень даже замечательное лицо – весь черный, прямо сказать, жуковой... И волосней, знаете, зарос – ужас! Как, значит, ширнул на меня этак глазищами, так, честно говоря, душа в пятки ушла. Страшон! Не приведи господь, как страшон!

– А что на голове? – встрепенулся Костя неожиданно. – На голове что – не заметили?

– Да, признаться, не присматривался, но, вспоминаю, вроде бы кепка, что ли... этакая, знаете, лопушком, набочок...

– Так что же вы сразу не сказали? – с досадой крикнул Баранников. – На первом же допросе, сразу – тогда, утром?

– Оробел. – еле выдавил из себя Келелейкин. – Совестно признаться, товарищ следователь, а оробел... Убьет, думаю себе, такой негодяй – и будь здоров! Места наши глухие, хожу в ночную смену... Простите великодушно... Оробел!

Откинувшись на спинку стула, Баранников переводил взгляд с Келелейкина на Костю. Первый сидел, виновато понурившись, проникнувшись, как видно, запоздалым раскаянием, презрением к своей трусости, второй – вытянув на середину кабинета несуразно длинные ноги, блаженно и даже несколько глуповато улыбаясь, словно вдруг увидел ясно такое, что, кроме него, никто не видит...

Но какую-то, может быть, всего лишь десятую долю минуты находился Костя в таком похожем на транс состоянии. Решительно, быстро, скачком переместился он вместе со стулом к столу, резким движением отодвинул баранниковские бумаги.

– Давайте-ка все сначала, – сказал он Келелейкину. – Рост. Выше вас? Ниже?

– Маленько повыше. Ненамного.

– Вы говорите – зарос волосами. Что это – простая небритость или настоящая борода?

Баранников тарашил глаза на Костю, слова не мог вымолвить от изумления. Он его просто не узнавал: куда девалась дурацкая ухмылка, мечтательное спокойствие, мешковатость? Весь – как стальная пружина, острый, колющий взгляд, четкие, уверенные движения. Эк его, словно тигр метнулся в прыжке! Сдвинул бумаги на столе, клещами впился в Келелейкина... Будто не Баранников тут хозяин, а он, Костя... И даже Келелейкин как-то подобрался, выпрямился, перестал терзать фуражку... Не мнется, не тянет, не шепчет свои бесконечные «как бы сказать» да «извините великодушно», а охотно, по-солдатски отвечает – точно и деловито.

– Борода? Нет, какая борода, с месяц, видать, просто не брился, зарос...

– А почему вы думаете, что именно – месяц? Почему не два, не три?

– Да ну, какой – два! На палец всего и отросла, не ухожена. Одним словом сказать, не фасонная борода.

– Кепка какого цвета?

– Трудно сказать, но несомненно – светлая.

– Пиджак? Пальто?

– Пиджачок плохонький. Похоже, чужой, не по фигуре, весь обвис...

– Хорошо помните, что обвис?

– Так точно.

– Великолепно! – Костя даже руки потер. – Ну, Виктор, кажется, мы наконец взяли настоящий след! Теперь вот что: самый момент прыжка вы видели? Как окно открывалось. Как человек появился на подоконнике. Как опустился на землю.

– Как окно открывалось, не видал – слышал. Шел, знаете, о своем думал, не приглядывался. А как стукнула рама – глянул: мать честная, на меня прямоком ломит! Это, значит, черный-то...

– И он вас сразу заметил?

– Надо полагать, нет. Со свету сразу не заметишь.

– А, так, значит, у Мязина в комнате горел свет? Какой свет?

– Ну, обыкновенный, электрический. У Афанасия Трифоныча всегда яркая лампочка горела.

– Хорошо. Теперь дальше. Вы показали на первом допросе, что, когда человек удалился, вы подошли к окну, попробовали раму, а она оказалась запертой изнутри. Кто же, по-вашему, ее закрыл?

– Не могу знать. Я просто подошел, а пробовать не пробовал.

– Что вы путаете, Келелейкин! – вспыхнул Баранников, выхватывая из папки протокол. – Вот они, ваши показания! Так... «Возле дома Мязина...» М-м... «Скрылся в темноте...» Ага, вот! «После чего я подошел и попробовал раму»... Попробовал. Черным по белому.

– Разве я тогда так выразился? Хотел попробовать, подергать, это да. Вот так, Помнится, вроде бы я говорил... Но потом не решился – а ну как там еще какой: тукнет – и будьте любезны!

– Ну, хорошо, значит – подошли... – Костя нетерпеливо ерзал на стуле, пока Баранников уличал Келелейкина. – Побоялись стучать в окно. Допустим. Но раз вы оказались свидетелем такого факта: ночь, стукнула рама, кто-то подозрительный отходит от дома, – почему не подняли тревоги? Почему не дали знать соседям?

Келелейкин, затрудняясь объяснить, смущенно развел руками.

– Я постоял с минуту под окном, послушал. Вижу – свет горит, занавесочки задернуты, в доме полная тишина...

Баранников дернулся, хотел, видимо, задать какой-то вопрос еще, но Костя движением руки остановил его.

– А вот если б вам довелось встретиться с тем человеком – могли бы вы его опознать?

– Думаю, что мог бы...

– Отлично! В таком случае, – круто обернулся Костя к Баранникову, – пиши постановление...

– Какое постановление? – опешил Виктор.

– Ну, какое! О задержании Авалиани.

– Кого? Кого? А-ва-ли...?

– А-ва-ли-а-ни. Вот. – Костя подвинул Баранникову листок бланка. – Давай. По буквам: Алексей, Василий, Алексей, Лидия, Иван, Алексей, Николай, Иван.... А-ва-ли-а-ни. Так. Правильно. Имя – Арчил. Отчество – Георгиевич.

– Но кто это?

– Фу, боже мой, – кто-кто! Икс!

Пожимая плечами, Баранников послушно писал.

– Можно? – просовывая голову в дверь, пропела какая-то рослая, пожилая, но еще довольно красивая женщина с несколько, правда, туповатым и сонным лицом. – К кому мне тут? Я по телеграмме... Мухаметжанова. Лизавета Петровна...

– Очень кстати! – обрадовался Костя. – Вот все вместе и пойдём.

– Но куда? Куда? – совсем сбитый с толку, спросил Баранников.

– Да тут... в одно место... – неопределенно махнул рукой Костя. – Между прочим, можешь поставить на своей карточке под Иксом: Мухаметжанов. Яков. Ибрагимович.

А через каких-нибудь полчаса в комнату дежурного по райотделу вошли двое: седоватый сухонький гражданин в габардиновом, военного покроя плаще и брезентовых, пыльного цвета сапожках и немолодая, но явно молодящаяся женщина с густо напудренным широким лицом.

Старичок предъявил дежурному какой-то документ и спросил, где можно найти товарища Поперечного или Баранникова.

– В цирк пошли, товарищ капитан, – вежливо козырнув, отрапортовал дежурный.

– Что-о? – не понял старичок. – Куда?

– В цирк! – гаркнул дежурный, справедливо полагая, что незнакомый пожилой капитан маленько туговат на ухо.

Един во многих лицах

В заключении врача говорилось, что смерть гражданина Авалиани А. Г. наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника и одновременного кровоизлияния в мозг.

Примостившись за каким-то пестро размалеванным ящиком из реквизита фрау Коплих, лейтенант Мрыхин писал протокол о происшествии. Перед ним лежал раскрытый на первой странице, выдавший виды, потрепанный паспорт, и всякий раз, когда требовалось упомянуть фамилию потерпевшего, лейтенант заглядывал в паспорт, ибо имя и фамилия были необычны, трудны для запоминания.

Тот же, кто еще вчера назывался этим редкостным и звучным именем, лежал бездыханный на таких же составленных рядом, пестрых ящиках и равнодушно глядел из-под неплотно прикрытых синеватых век мутными белками уже ничего не видящих глаз.

Размахивая коротенькими ручками, то и дело вспыхивая золотыми коронками зубов, суетился директор, что-то объясняя, выговаривая фрау Коплих. Ее помощник, униформисты, актеры, рабочие толклись в довольно узком проходе у клеток. Черная пантера, львица, гиена, волки и тощие, облезлые лисы беспокойно металась в своих неубранных, тесных жилищах... Острый, удушливый звериный запах стоял так крепко, так непробиваемо, что лейтенанту, не привычному к цирковым задворкам, приходилось частенько вынимать из кармана носовой платок и прижимать его к носу.

И лишь двое оставались величественно, непоколебимо спокойны, презрительно шурили холодные глаза и глядели свысока, всем видом своим показывая, что все, что произошло, что сейчас мелькает перед ними, – все это такая незначительная мелочь, на которую и обращать внимания не стоило бы...

Эти двое были: сама фрау Коплих и ее лучший воспитанник – лев Цезарь.

Фрау Коплих несколько недоуменно смотрела сверху вниз на толстячка директора, ни слова не понимая из того, что он ей горячо втолковывал. Ее помощник пытался объяснить по-немецки то, что говорил директор, но она лишь презрительно кривила губы и пожимала костлявыми плечами. «Что? Цезарь убил этого человека? *Verflucht!* (Проклятие!) Но кто просил его лезть в клетку ко льву? Цезарь никогда не любил этого неопрятного *schmutzfink* (грязнулю)... Цезарь очень ценный и чистоплотный порядочный зверь, а от этого *trinkenbold* (пьяницы) всегда так дурно пахло!..»

Который раз лейтенант Мрыхин пытался водворить тишину и порядок – все было напрасно. Говорили все наперебой, большого труда стоило восстановить на протокольном листе картину происшедшего.

Картина же эта была такова.

Рабочий цирка Арчил Авалиани последнее время часто пьянствовал, небрежно относился к своим обязанностям. Были случаи, когда клетки оставались неубранными, не вовремя накормлены звери. Вчера, например, он отсутствовал почти всю вторую половину дня, не вышел на работу к вечернему представлению. Перед тем как оставить зверей на ночь, помощник фрау Коплих обнаружил некоторую неисправность в замке той клетки, где помещался лев по имени Цезарь. Во избежание несчастного случая (*Unglücksfall*) фрау Коплих приказала перевести льва в порожнюю соседнюю клетку. Когда стали перегонять туда Цезаря, последний чихал, отфыркивался, не желал переходить в новое помещение. Было очевидно, что оно ему не нравится. В этот момент кто-то из служащих цирка обнаружил в углу пустой клетки, под кучей соломы, маленький чемоданчик и подушку, принадлежавшие, по показанию ночного сторожа, рабочему Арчилу Авалиани. На удивленный вопрос фрау Коплих – как сюда попали эти вещи? – сторож показал, что эта пустая клетка служила вышеупомянутому Авалиани ночлегом. После удаления из клетки его вещей лев по имени Цезарь, хотя некоторое время и оказывал сопротивление, но все же в конце концов вошел в клетку. Чемоданчик же и грязная подушка, принадлежавшие Авалиани, были за отсутствием последнего водворены в помещение для рабочего инвентаря. Во втором часу ночи, по показаниям дежурного пожарника и все того же сторожа, в цирке внезапно погас свет. Оба они, то есть сторож и пожарник, поспешили к распределительному щитку проверить причину аварии, и в это именно время услышали как бы осторожные шаги в той части конюшен, где помещались хищники фрау Коплих, затем лязг дверной задвижки и почти одновременно – грохот и рев льва. При свете электрического фонаря они увидели лежащего на полу клетки и уже мертвого Арчила Авалиани, видимо, убитого львом Цезарем. Но сам лев находился в противоположной стороне клетки и, поскольку от Авалиани сильно пахло алкоголем, терзать убитого не решался, а только фыркал и рычал. Электричество же было кем-то выключено, но кем именно – установить не удалось.

Лейтенант заканчивал протокол, когда в цирке появились Баранников, Костя, Келелейкин и Елизавета Мухаметжанова.

Мертвый Икс лежал на пестрых ящиках из звериного реквизита фрау Коплих.

– Самый он и есть! – едва взглянув на труп, решительно сказал Келелейкин.

– Господи боже мой! – испуганно задохнулась Елизавета Петровна. – Да неужли ж и взаправду Яков?!

– Сомневаетесь? – спросил Костя.

– Так ведь тридцать лет почти, подумайте! – В голосе Елизаветы Петровны слышалось скорее удивление и растерянность, чем горе. – Вся, можно сказать, жизнь...

Дрожащими пальцами она расстегнула ворот грязной рубахи убитого. Под левой ключицей темнело круглое, величиною с двугривенный, поросшее темными волосками родимое пятнышко.

– Он! – прошептала Елизавета. – Он...

– Кто? – спросил Баранников.

– Муж... Яков Ибрагимович...

Все притихли, понимая, что тут уже не просто несчастный случай, а какая-то нехорошая, темная и даже, может быть, преступная история. Сама фрау Коплих изобразила на своем деревянном лице некоторое подобие любопытства. Один Цезарь по-прежнему презрительно безмолствовал.

– Ну, вот он, твой Икс, – указал Костя Баранникову на мертвеца. – Родной братец погибшего Мязина. Человек, на котором так неожиданно сошлись наши с тобой пути... Где его вещи? – обратился он к директору.

– Да какие там вещи! – насмешливо сказал сторож. – Тряпье, мусор... Пожалуйте сюда.

Он повел Баранникова и Костю куда-то в глубь звериного сарая.

– Выходит, Арчил-то наш и не Арчил вовсе? – удивленно перешептывались униформисты. – Яков, понимаешь, какой-то...

– Шпиён, что ли?

– А черт его знает, прощальгугу! Может, и шпийн, что ж такого удивительного...

Лейтенант безуспешно уговаривал людей разойтись по местам:

– Ну, чего не видали, уважаемые? Подумаешь, дело какое – зверь человека задрал! Он, ежели желаете знать, быка одним ударом кончает... Давайте, давайте, товарищи, освобождайте помещение! Ну, вот вы, папаша... ну чего тут не видали? И вы тоже, гражданка! Будьте любезны... Этак вся улица набегит, работать невозможно...

Последние слова лейтенанта относились к скромному старичку в габардиновом плаще, который в сопровождении какой-то женщины упорно протискивался сквозь толпу.

Пробившись наконец вперед, старичок хотел было что-то сказать лейтенанту, но тут показался Костя. Он быстро шел, громко, оживленно разговаривая с Баранниковым, одной рукой прижимая к груди какое-то невероятно грязное, засаленное подобие подушки, держа в другой маленький ободранный чемоданчик.

До сих пор угрюмо, презрительно молчавший Цезарь заволновался и издал вдруг такой громоподобный, захлебывающийся рев, что толпившиеся возле клеток люди дрогнули и попятились назад. Женщина, сопровождавшая габардинового старичка, испуганно взвизгнула и спряталась за его спину.

– Максим Петрович! – обрадованно воскликнул Костя. – Какими судьбами? Здравствуйте, Евгения Васильевна! Вот, Виктор, позволь тебе представить – учитель мой и вроде бы даже крестный – капитан Щетинин...

– Очень приятно, – вежливо поклонился Максим Петрович.

– А это, – продолжал Костя, кивая в сторону человека, лежащего на ящиках, – это – инженер Георгий Федорович Леснянский... Узнаете своего супруга? – обернулся Костя к онемевшей Изваловой. – Он?

Баранников закрывает дело

– Скажи, пожалуйста, вода – и холодная, и горячая, и какая только хочешь!.. Я когда на карту поглядел, где это Кугуш-Кабан такой, думаю – ну, край света! Затерянный мир или что-нибудь в этом роде... А тут, оказывается, шествие разума, размаха шага сажень! Нет, что ни говори, а все-таки город имеет свои преимущества. Вот хотя бы в этом смысле взять – в смысле удобств...

– Как же это вас Марья Федоровна-то отпустила? – спросил Костя с улыбкой, подавая Максиму Петровичу полотенце.

– Так ведь что сделаешь: Извалова-то ехать одна наотрез отказалась! «Опознавать? – говорит. – А он уже в тюрьме?» – «Еще нет, но вот если опознаете, – говорю, – будет в тюрьме». – «Значит, он еще на свободе ходит? И не просите, не поеду! А если я с ним невзначай столкнусь? Он же меня прирежет, негодяй!» Ох, и натерпелся же я с ней! И вещи ее таскай, и непрерывно о чем-нибудь для нее хлопочи... То ее тошнит в самолете – добывай ей у проводниц лимонад. А добудешь – она уже лимонада не хочет, ей бы чего-нибудь кисленького или соленького. Погоди, вот назад поедем – узнаешь сам, что это за дама, если еще до сих пор не узнал... Да, так отчего же все-таки в этом вашем Кугуш-Кабане так чудно: тюрьма на улице Свободы, а кладбище – на улице Веселой?

После умывания теплой водой Максим Петрович порозовел, заметно омолодился, даже морщины его как будто разгладились. Придирчиво, ища изъяны, он посмотрел на себя в зеркало, пригладил ладонью на лысой макушке белесый пушок, потрогал подбородок: не следует ли побриться? Ему очень хотелось еще что-нибудь сделать с собою в располагающей к этому белоснежной, выложенной кафельной плиткой баранниковской ванной комнате, но ничего больше не требовалось. Щетина на подбородке еще ничуть не отросла.

С сожалением Максим Петрович оторвался от зеркала и кранов и, побряхтывая, потянулся к висящему на крючке суконному пиджаку, облачаться в который у него явно не имелось желания. Попарился же он в этом сукне! Да еще его угораздило габардиновый макинтош сверху натянуть! Это, несомненно, Марья Федоровна уговорила. Услыхала, что Кугуш-Кабан в северной стороне, и

взволновалась: там же холодно, поди, вечная мерзлота, как бы Максиму Петровичу не простыть, не застудить свои радикулиты!

– Да бросьте, не надевайте, отдохните от своих доспехов! – сказал Костя, останавливая руки Максима Петровича и уводя его за собою в комнату, где, звеня посудой, хлопотал Баранников.

Стол ломился от яств – выразился бы романист карамзинского времени, взглянув на то, что сотворил Баранников, чтобы наконец-таки за несколько суток по-настоящему поесть, но, главное, от радости, что мязинская история, еще утром казавшаяся зашедшей в безнадежный и безвыходный тупик, так неожиданно и блистательно завершилась.

Холодная, облитая глазурью желе курица, нарезанная пластами великолепная ветчина, сквозящий, как елецкое кружево, сыр, пропитанные янтарным жиром импортные сардины в продолговатой жестянке, диетические, высшего сорта, яйца – горкой на белой тарелке, крутая сметана в синеватых баночках, застывшая в магазинном холодильнике до такой густоты, что, переверни покрытую росой банку вниз горлышком и держи хоть сколько, – не вытечет ни капли... Как главная роскошь, с которой ничто из перечисленного не могло состязаться, в центре стола возвышалось блюдо с только что отваренным молодым картофелем. А по соседству с ним, еще больше разжигая аппетит, на хрустальной селедочнице под синеватыми кружочками лука, выставив за край хвосты, протянулись две жирные мясистые селедки с выражением на пучеглазых мордах лишь одного желанья: чтобы их поскорее съели и убедились, как они невероятно, сказочно вкусны...

Костя почувствовал под языком едкую, обильную слюну.

Максим Петрович приятно изумился тому, какой отменной снедью богат таежный Кугуш-Кабан и как все аппетитно выглядит, как красиво представлено на столе, чем весьма польстил Баранникову и доставил ему истинное удовольствие. Но тут же Максим Петрович и огорчил его, почти что ото всего отказавшись и взяв себе только яичко, баночку кефира и тоненький ломтик пшеничного хлеба.

Баранников было запротестовал, стал наливать Максиму Петровичу в рюмку портвейну, но Костя сделал ему знак – не надо неволить старика: у него своя диета, строгие предписания Марьи Федоровны. Пусть ведет себя, как ему можно и как он хочет...

Зато уж Баранников и Костя в полной мере вкусили от своего кухмистерства: они и портвейну по полному фужеру выпили, и молодого картофеля по целой тарелке умяли, вбухав в него здоровенные ломти масла, и с обеими селедками под эту картошку расправились, и по паре яиц облупили. Аппетит приходит с едой: в какой-то совершенно уже патологической ненасытности они в завершение разодрали напололам курицу, и кости ее захрустели у них на зубах. Валет, имевший на эти кости свои виды и нетерпеливо ждавший подачи, от зависти и вожделения даже волчком закрутился на месте, заскулив так, точно ему придавили лапу.

Вот тут Максим Петрович и испортил Баранникову аппетит, спросив, какие же были мотивы у растерзанного львом человека... как его настоящая-то фамилия – Мухаметжанов, кажется, так?.. какие же были у него мотивы так поступить со своим братом да еще поджечь его дом? Из-за чего и ради чего он совершил свое злодеяние? Все, в общем, в этой истории ему, Максиму Петровичу, понятно, все ее детали из того, что довелось ему увидеть и услышать, он уже усвоил, и только непонятно ему одно вот это обстоятельство: причины злодеяния. Может быть, он что-то пропустил, прибавил Максим Петрович смущенно, тогда он просит извинить его и повторить еще раз, чтобы уж все в полном объеме было ему известно...

В белой, расстегнутой на груди рубашке с закатанными рукавами, розоволицый, прихлебывающий из стакана специально для него согретый чаек, Максим Петрович выглядел добродушным простоватым старичком, таким скромным районным кооператором, провинциальным дядюшкой, приехавшим навестить своих ученых, вознесшихся в значительные сферы племянников.

Вопрос свой он задал без всякой каверзы, абсолютно не желая поддеть Баранникова, – простодушная доверчивость провинциала к уму и знаниям молодых дипломированных коллег вместе со вниманием составляли главное в выражении Максима Петровича.

Однако его простодушный вопрос оказался вдруг очень серьезным и трудным – и для Баранникова, и для Кости. Баранников, потому что затронутое касалось его больше, чем Кости, первым оценил его серьезность и сразу же запнулся в своем оживлении, как-то сбился, похоже на

то, как сбивается молодой резвый конь с ладной, приятной глазу рыси, которой он до того мгновения уверенно и ровно шел.

Он начал объяснять, но вышло, что он не столько отвечает на вопрос, сколько подыскивает, как его отклонить и уйти от точного и прямого ответа. Максим Петрович остановил Баранникова и сказал, что с этим белым пятном картина остается непонятной и нерасшифрованной и следователю нельзя считать задачу завершённой, а свою роль исполненной до конца...

– Разве мало в практике таких дел, когда мотивы, побуждения так и остаются непознанными? – вскипел Виктор, совсем уже задетый за живое. – Однако это не помеха, чтобы определить виновника и возложить на него вину и ответственность! А если обстоятельства таковы, что мотивы практически нельзя установить? Вот как в этом деле: участники мертвы. Кто нам теперь расскажет о том, что знали только они? Между ними был какой-то спор, потому они и встретились, потому и возникло преступление. Только они и могли бы рассказать о своем споре, открыть мотивы. Но с покойниками еще нет способа общаться и, вероятно, несмотря на все развитие науки и техники, его еще не скоро изобретут. Зачем же ломать голову над тем, что по обстоятельствам дела непостижимо? Задача в нашем конкретном случае состоит лишь в одном: обосновать и доказать, что именно это лицо совершило данное преступление. А это доказывается, и доказательств вполне достаточно, чтобы подвести завершающую черту...

Баранников с видом правым и победным снова принялся за курицу. Максим Петрович сконфуженно замолчал, смятый пылкой речью, но видно было, что Баранников его не убедил.

– Конечно, это понятно... Я и по себе это знаю: всегда хочется поскорей... – пробормотал Максим Петрович, помешивая ложечкой чай.

– Ну, а хотя бы вот это, разве не могло послужить Мухаметжанову мотивом: сто двадцать тысяч в его драной подушке найдены. Откуда они? Каким путем он их добыл? Только лишь женитьбами? Не больно-то богаты нынешние невесты! Три, ну пять, ну девять тысяч, как у Изваловой, мог он каждый раз уносить в зубах, – но ведь не тридцать же раз он женился! Если даже предположить, что все случаи, что числятся в ориентировках, принадлежат ему, – так и то только тринадцать. А похищенные при этом деньги в общей сумме сколько, Костя, составляют?

– Я не суммировал, но, конечно, не сто двадцать тысяч. Половина, может быть, наберется...

– Вот! – воскликнул Баранников торжествуя. – Половина! А вторая половина – от Мязина!

– А что – у него большие деньги дома хранились? – деловито осведомился Максим Петрович.

– Как теперь это выяснить? Мог бы знать Мировицкий, но и Мировицкого не заставишь говорить...

– А нотариус? – удивился Максим Петрович безнадежности в тоне Баранникова. – Мязин мог с ним советоваться, прежде чем писать завещание. Наверняка даже! Всегда советуются насчет формулировок, как согласовать со статьями закона. Может быть, нотариус даже черновик завещания писал?

Баранников задумался. Мысль о нотариусе была резонной.

Но как же, однако, ему не хотелось вновь отчаливать от тихой пристани в море сомнений и неизвестности! Все равно как кораблю, только что выдержавшему нелегкое плавание...

– Проверить это не трудно, – сказал он, подымаясь и берясь за телефон. Весь вид его говорил об убеждении, что и нотариус, если только он в состоянии что-либо сообщить, своей информацией только укрепит его, Виктора, мнение и позиции.

Он пострекотал диском. Ему ответили.

– Баранников говорит, – негромко сказал Виктор в трубку с той внушительностью, которая сразу подчиняет себе людей.

Минут пять продолжались его переговоры с нотариальной конторой.

Когда он повесил трубку, вид у него был далеко не тот, с каким он ее брал.

– Действительно, черновик был набросан... Наличных у него не имелось совсем. А на сберкнижке всего тридцать один рубль сорок три копейки, остатки от последней полученной пенсии...

Однако только лишь минуту Баранников пребывал озадаченным и потерявшим почву.

– Но ведь Мухаметжанов, влезая в окно, мог этого и не знать! Он мог предполагать совсем другое! Весь образ жизни Мязина – приобретение им книг, картин, постройка ветродвигателя – заставляли думать, что он обладает средствами, и средствами весьма значительными...

– Сколько я их повидал, грабителей, каких только мастей, а такого еще не встречал, чтоб лез, рисковал шкурой и – втемную, наперед не зная, за чем лезет... – сказал, усмехнувшись, Максим Петрович.

– Что это – незыблемый закон, у которого не существует исключений? – взвился Баранников.

– Закон не закон, а так уж само собой получается. Просто здравый смысл диктует. Грабеж с убийством – это что? Это ведь стенка – и на тот свет без пересадки. Каждому уголовнику это известно. Раз на такое идешь – надо знать, что не впустую, не задарма, что риск оправдан... А тут даже исключения не получается: рама-то, вы говорили, была изнутри на шпингалет закрыта? Это как же: Мязин, значит, мертвый ходил по дому, задвигал шпингалеты?

– Ну, еще пять минут, и вы мне докажете, что и в окошко никто не лазил, и Мязин не убит, и никакого поджога не было, а все это просто так – сон, мираж, игра воображения! Ох, Максим Петрович, и крючок же вы! – стараясь сделать свой смешок добродушным, хихикнул Баранников. – Шпингалеты – это субъективное мнение Келелейкина, и только. А не точно установленный факт. Я подчеркиваю; *не факт*. И тем более это не факт, что сегодня утром, вторично давая показания о встрече с грабителем в ту ночь, Келелейкин заявил, что он вообще не тянул за раму и не знает, была ли она закрыта изнутри или нет. Это он просто неудачно, ошибочно выразился при первом допросе...

– А может, он уже подзабыл? Или хитрит из каких-то соображений? Все-таки первые показания...

– Черт возьми, и зачем я записал это в протокол! Абсолютно недостоверная, из одних лишь сомнительных ощущений возникшая деталь, а теперь вот она – препятствие! Нет, дорогой Максим Петрович, блуждать по лабиринтам я больше не хочу! Хватит, наблуждался досыта. Мне один Колька мороки задал, чертов пьяница! Все предельно ясно, все как на картинке, ни одна инстанция не опровергнет мои выводы, не потребует исследования. В доме Мязина после всех, кто в нем был в этот день и вечер, побывал Яков Мухаметжанов, пробравшийся туда через окно, уголовник с тридцать девятого года, живущий по подложным документам, сменивший множество имен и обличий. Он поставил своей целью разбогатеть, обеспечить себя большим капиталом и успешно достиг этой цели путем фиктивных женитьб и разных других, пока еще не установленных, махинаций. Он владел огромной суммой, но в автоматизме страсти, непомерно развившейся алчности даже такие деньги казались ему малы, не могли его вполне насытить. До него дошел слух, что брат его по матери при смерти, у него есть какие-то ценности, накопления, из-за которых среди наследующих родственников идет драчка, распря. Подогретый этим слухом, он залез после полуночи в дом к Мязину, убил его камнем, ничего не обнаружил, страшно разочаровался и, убираясь, поджег дом, чтобы огонь скрыл все следы...

– А шпингалеты? – спросил внимательно слушавший Максим Петрович.

Он был по-деловому озабочен: как же поступить с этой наличествующей в протоколах подробностью, неужели просто взять да отбросить?

– Не было шпингалетов! – выходя из себя, страдальчески закричал Баранников, подпрыгивая, будто в него вонзили иглу. – К черту шпингалеты! Это не факт и никогда не было фактом! Келелейкин от них отказался начисто! От-ка-зал-ся! Вычеркну я их ко всем чертям, чтоб их и духу в протоколах не было!

«Верю в шпингалеты»

– Можешь надо мной смеяться, можешь считать это несерьезным, никаких прав так утверждать у меня нет, я это понимаю, но почему-то я верю в эти шпингалеты! – сказал Максим Петрович Косте, после того как Баранников, наскоро побрившись и надев свежую рубашку, умчался в прокуратуру.

Спор с Максимом Петровичем привел его в беспокойство, и было понятно, чего он опешит: поскорее по всей форме зафиксировать последние показания Келелейкина, пока машинист не

впал в новую путаницу и относительно окна у него не сложилось еще какого-нибудь, уже третьего, впечатления.

– А у Виктора твоего положение сейчас совсем бухгалтерское! – весело улыбнулся Максим Петрович.

– Какое, какое? – не понял Костя.

– Бухгалтерское, я говорю. Как у того бухгалтера, у которого баланс не выходит. Миллионные суммы свел, полный бы ажур, да вот беда – одна копейка лишняя... Все миллионное дело эта копейка портит. И выкинуть ее нельзя, и черту подвести мешает. Вот так и у него эти шпингалеты... Можешь меня хоть на смех поднимать, хоть что, а я, повторяю, почему-то в них верю. Было окно закрыто. Келелейкин раму-то все-таки потянул!

– Но почему, почему вы так убеждены? – удивился Костя.

Максим Петрович отступал от своего же собственного метода, который он всеми силами постоянно внедрял в Костю: принимать в расчет только факты, одни факты, ибо впечатления, мнения, суждения человеческие, как правило, тенденциозны, неустойчивы, отражают истину с отклонениями, искаженно – даже в тех случаях, когда нет сознательного намерения исказить, просто в силу особенностей человеческого восприятия, психики, устройства памяти.

– Почему я убежден? – спросил Максим Петрович. – Да я не убежден. Просто первое показание, сразу же после события, оно всегда верней, это я уж знаю... Раму он, конечно же, потянул! Такое необычное происшествие: незнакомый подозрительный человек в полуночный час возле соседского дома... То ли хотел в окно влезть, то ли вылез... Как же окно-то не проверить! Не мог он этого не сделать, раз к окну подошел. Всякий бы на его месте так сделал. Но только сделал он это механически, вполнину бессознательно. Вы ж сами говорили: страх им при этом владел – как бы еще кто не выскочил да по черепушке... Ну вот, поскольку это все его мысли занимало, только страх свой отчетливо он и запомнил. А жест механический – не запомнил. На первом допросе об этом жесте у него хоть смутное, но еще было воспоминание, а прошло несколько дней, впечатления пригасли, а тут еще личные заботы, дочка тяжело больна, знахарку побил, как бы за это не наказали, – и в мыслях его так все переформировалось, что только одно теперь и помнит: как ему страшно было! Самое обыкновенное явление, удивительно, как это Виктор Иванович упустил: что в тот или иной момент в состоянии человека главное, то подавляет другие, второстепенные, впечатления...

– Психическая доминанта! – облек Костя в формулу рассуждения Максима Петровича. – В отношении несущественных мелочей это, безусловно, верно, сознание их не закрепляет отчетливо, но когда встречаешь в полночь на улице человека, выпрыгнувшего из окна, согласитесь, это совсем не мелочь – положение оконной створки. Затем Келелейкин и подходил к окну – чтобы проверить. Стало быть, это был его вполне сознательный акт, с нацеленным вниманием. Что другое – допускаю, он мог потом запомнить, попутать, но только не это: тянул он за раму или не тянул?

– А ведь спутал же! – подхватил Максим Петрович. – Врать, намеренно менять показания причин у него нет, в деле Мязина он лицо постороннее, случайное, ни к чему не причастное. Чем же еще, как только несовершенством памяти и восприятия, объясняются два его различных показания?

– Может быть, вы и правы, – согласился Костя, сдаваясь. – Но что тогда получается, если принять ваше мнение? Кто там лазил к Мязину, от чьей руки он погиб – мне это все равно. Свое дело я завершил: требовалось найти Леснянского – Леснянский найден, опознан, установлена подлинная личность, прятая за этой фамилией... Но Витька! Опять, значит, ему рыть и копать, а копать уже нечего, сплошная пустота...

– Так ли уж пустота? – усмехнулся Максим Петрович. – Материализм говорит другое: пустоты нет. Кажется только, что пустота. Вот, например, межпланетное пространство... А все равно там какие-то атомы плавают, частицы... Кометы летают, астероиды. Икар, например, летит...

Костя так и покотился со смеху.

– Ага, так вот почему все мои журналы в корешках перегнуты! Астероиды! Икар! Экий же вы эрудит стали, Максим Петрович!

– Ну, эрудит не эрудит, а кое на чем я тебя теперь и посадить могу. Например...

Посадил бы Максим Петрович Костю или не посадил – осталось невыясненным; беседу их прервал звонок.

– Извалова! – сказал Максим Петрович, морщась. – Отвечай ты, ну ее к шутам!

– Константин Андреич? – пророкотал в трубке фальшиво-любезный голосок Изваловой. – А товарищ Щетинин с вами? Я хочу ему кое-что сказать...

С кислой миной, как человек, не ожидающий ничего доброго, Максим Петрович приложил трубку к уху.

– Евгения Васильевна, – тоном увещевания сказал он, послушав с полминуты. – Вы же знаете, это был единственный номер, да и то забронированный...

Трубка заверещала, точно в ней сидела дюжина сверчков.

– Поверьте мне, выйдут только напрасные хлопоты. Администратор при вас же сказал: свободных мест нет и до субботы не ожидается... Ну что ж, что ходят, что вода шумит. Вам же здесь не месяц жить, всего-навсего день-два. Потерпите уж как-нибудь... Товарищ Баранников? Да и товарищ Баранников, уверен, не сможет вам помочь – других-то мест действительно нет! Ну, хорошо, хорошо, я позвоню ему. И директору позвоню, хорошо... Нет, больше не звоните. Если что-нибудь получится, я сам вам позвоню...

– Чертова баба! – сказал Максим Петрович, кладя трубку. – Комната ей не нравится, видишь ли... Туалет рядом, много, говорит, ходят мимо, слышно, как за стеной воду сливают. Я, говорит, тут не по своей воле, вы меня сюда привезли, вы и обязаны устроить со всеми удобствами! Ты подумай, есть у нее что-нибудь в голове, а? Не по своей воле! А мы-то из-за кого, по чьей воле здесь, дуреха несчастная!..

– Что же вы намерены делать? – опросил Костя с закравшейся тоской, зная, что Извалова не отстанет. – Просить директора гостиницы?

– Еще чего! – возмущенно ответил Максим Петрович.

– Но она станет опять звонить. Чего доброго, сама явится... Гостиница-то вон, в окно видать...

– Пускай. А мы сейчас уйдем. Тебе в прокуратуру надо, а я погуляю... Марье Федоровне телеграмму отобью, чтобы не беспокоилась. И, кстати, по дороге ты мне дом покажешь, где это все случилось. Интересно все-таки взглянуть...

На покинутой усадьбе

1

Максиму Петровичу все было любопытно в этом городке – и уцелевшие еще на многих улицах дощатые тротуары, и обилие бревенчатых домов со старинными, хитро, затейливо вырезанными деревянными кружевами подзоров, наличников, карнизов, и чокающий, какой-то словно вопрошающий говорок местных жителей. Он шел, беспрестанно замедляя шаг, останавливаясь, расспрашивая Костю о том о сем. На здоровье Максим Петрович последнее время не жаловался, неожиданная прогулка из благословенных Подлипков через всю Россию в далекий Кугуш-Кабан встряхнула и развлекла его, настроение было отличное.

Запутанное и вздорное дело с проходимцем и жуликом Леснянским-Мухаметжановым... или как там его, закончено успешно, и это тоже радовало. Какие-нибудь еще два-три дня для выполнения всяческих формальностей с найденными в засаленной подушке деньгами, с передачей Изваловой похищенных у нее девяти тысяч – и можно возвращаться домой. И снова поплывут под самолетом похожие на снежную пустыню облака, в разрывах засинеют родные перелески, пыльным золотом сверкнут заколосившиеся хлеба черноземных полей, и он, Максим Петрович, ступит на порог своего чистенького уютного домика, услышит знакомую-перезнакомую ласковую воркотню милейшей Марьи Федоровны, с удовольствием войдет в привычную колею служебных и домашних дел.

Настроение еще улучшилось после того, как в магазине «Оптика» Максим Петрович приобрел нужные ему очки в великолепной золотой, «академической», как он выразился, оправе,

– Ведь это что! – как младенец радовался он, разглядывая покупку. – Год цельный искал эти самые плюс четыре! В области все аптеки обегал, в Москве заказывал – нету и нету... А тут, в Кугуш-Кабане, – пожалуйста, будьте любезны!

Он примеривал франтовские очки, глядясь, словно в зеркало, в стекло магазинной витрины, где среди живописно раскиданных оправ и очковых футляров покоился надменно взирающий на мир огромный, величиною с чайное блюдце, рекламный муляж человеческого глаза.

– Да, слушай, – вспомнил Максим Петрович, – как же все-таки получается? По словам Извалихи, у этого ее... так сказать, супруга, один-то глаз – стеклянный, а выходит, что оба свои...

– А я вам разве не показывал? – Костя вынул из кармана завернутый в бумажку стеклянный глаз. – Вот, любуйтесь. Он его обронил нечаянно, а я подобрал. Эта штучка, собственно, его и выдала...

– Ну, хитрец! – восхищенно сказал Максим Петрович. – Этакую особую примету себе придумал: ищите, мол, человека со вставным глазом! С фантазией был парень!.. Представляешь, как он перед Изваловой этим своим глазом играл? Вот, мол, милочка, запасной, на всякий случай... Но она-то? Как же она-то на такой дешевый трюк попалась?

– Страсть ослепила, – засмеялся Костя.

Максим Петрович только плюнул.

2

Тянул прохладный ровный ветер, жалобно поскрипывал неподвижными лопастями ветряк. Старый сад стоял молчаливо. Тихонько, таинственно перешептывались прозрачные верхушки молоденьких яблонь. Шелестели раскиданные по примятой, вытопанной траве обрывки каких-то газет, журналов, листы книг, растерзанных, погибших при пожаре.

Всего лишь несколько дней жила усадьба без хозяина, а запустение уже виднелось во всем; на садовой дорожке валялись бумажные обрывки и старый, с порыжевшим голенищем сапог, опрокинутая кадка уже рассохлась; на солнце мерцали ниточки паутины, откуда-то вдруг налипшие на деревья...

Но что особенно подчеркивало сиротство усадьбы, ее безнадежное запустение – это тяжелая, неуклюжая громадина полуразваленной русской печи и в бездеятельности, в неподвижности своей ставший чем-то вроде огородного пугала ветряк.

Особенно ветряк.

Торчал голенастый, не нужный никому. Поскрипывал, побряхтывал. Словно жаловался обступившим его деревцам на свое увечье, на чью-то жестокую несправедливость: «Вот, мол, милые мои, какие дела-то! Сколько лет вертел лопастями, качал воду из колодца и вот – забыт, заброшен... Не горько ли, деточки? О-хо-хо...»

Возвышаясь над черными руинами, над обгорелыми стенами, он был далеко виден с улицы, казался особенно нелепым, уродливым, придающим пожарищу какой-то совершенно фантастический вид...

Именно его-то в первую очередь и заметил Максим Петрович, когда вместе с Костей подходили они к мязинскому дому. Как садовод, сразу оценил его полезность.

– Хороша штука! – причмокнул губами даже. – Мне бы этакую завести дома... Ведь прямо-таки все руки отмотаешь с поливкой, а тут включил – и вот тебе, пошла водица... Работяга!

– Отработался, – сказал Костя, – Четвертый день бездействует.

– Ну, да, конечно, хозяина нету, – сочувственно вздохнул Максим Петрович. – Теперь и весь сад хоть пропадом пропадай!..

– Да нет, не в том дело: испортилось что-то в механизме после пожара.

– При чем же пожар-то?

– А черт его знает. Пожарники, говорят, на него лазили, поливали оттуда. Может, как нечаянно и повредили...

Максим Петрович покачал головой.

– Жалко! – с искренним чувством сказал он. – Отличная, полезная вещь! И ведь не так уж сложно его поставить... Ну, может, не столь капитально, не на железных опорах, попроще... Колодец-то глубок ли?

Он заглянул в колодец, что-то соображая, прикидывая, бормоча про себя. Шагами измерил расстояние между опорами, бетонную площадку, в которую они были вделаны. Затем, видимо, перекинувшись мыслями к тому, что недавно произошло здесь, на этом мирном клочке земли, принялся шарить меж кустами, в траве, словно ища чего-то.

Костя заскучал. Найти что-нибудь после работников прокуратуры и милиции казалось совершенно немислимым. Садоводные же размышления Максима Петровича ему были безразличны, он выслушивал их без интереса, из вежливости. Поэтому, заметив среди лопуховых джунглей какую-то растрепанную книгу, он поднял ее и уселся на лавочке под яблоней.

3

А Максим Петрович все ходил и ходил. Приглядывался. Принюхивался. Ковырял палочкой в реющей черным прахом угольной трухе, откопал кусок толстого оплавившегося стекла, рассматривая его и так и этак, показал Косте.

– От телескопа, наверно, – равнодушно заметил тот, едва взглянув на стекло.

– Дельный был старичок! – разумея Мязина, почтительно сказал Максим Петрович, пряча осколок в карман.

Костя вдруг весело расхохотался.

– Чего это тебя разбирает? – подозрительно покосился Максим Петрович.

– Да как же... ох! Вы поглядите, какие, оказывается, еще антики сохранились!..

Он подал Максиму Петровичу найденную книгу, раскрытую на титульном листе.

– «Зеркало тайных наук и отражение судьбы человека, – вооружившись «академическими» очками, прочел Максим Петрович. – Черная и белая магия, сочинение Альбертино... Москва, 1872 год»... Занятно! Слышал, слышал я про черную магию... Вот, значит, какая она!

– Уникальная книжица! – заметил Костя. – Вот, послушайте: «Лягушки в животе. Этот случай был с одним евреем Киевской губернии, который, напившись болотной воды, почувствовал припадки в продолжение нескольких месяцев, боль в животе, царапанье, движение в желудке и прочее, а между тем живот вздувало. Наконец, от постоянного употребления скипидара и простокваши вышли рвотой тридцать пять лягушек...»

– Что за чепуха! – перебил Максим Петрович. – Ты что, разыгрываешь, что ли?

– Ей-богу! – веселился Костя. – Да вы слушайте дальше: «...тридцать пять лягушек разной величины и всех возрастов, отличавшихся бледностью и нежностью кожи...» Ничего себе, а? А вот еще: «Божьи стрелы»...

– Да погоди ты со своими стрелами! – отмахнулся Максим Петрович. – Ты мне вот что скажи: сколько тут окон в сад выходило?

– Три. Одно большое, итальянское. Да их все пожарники повыломали, когда тушили.

– Виктор Иванович допрашивал пожарников?

– Конечно. Я сам протокол читал: все окна были заперты. Мязин, говорят, из опасения эти рамы держал по-зимнему, наглухо.

– А стекла во всех глазках были целы?

– Абсолютно. Нет, Максим Петрович, садовые окна исключены. Вы же помните, Келелейкин...

– Так ведь Келелейкин ничего не видел, – сказал Максим Петрович. – Он только слышал, что рама стукнула, и все. Мне, брат, вот какая чертовина в голову пришла: а что, если вообще никто ни в какое окошко не лазил? Услыхал Виктор Иванович от Келелейкина про окно и уперся в эту версию. Это бывает. А ведь в доме-то – мало одной, две двери – на улицу и во двор...

– Да, но уличная была снаружи заперта на замок, – возразил Костя, – а кухонная – на задвижку изнутри...

– И, кстати сказать, обе сгорели. Поди, разберись – действительно они были заперты? Замок? Ну, замок нашли обгорелый, замкнут на два оборота, колечки с пробоями целы на дужке – все вроде бы честь честью. Так ведь не обязательно же взламывать именно замок, можно (да, пожалуй, это и легче) просто выдернуть пробой вместе с замком... Это раз. Через слуховое окно можно проникнуть в дом, через чердак, это – два. Я, имей в виду, не утверждаю ничего, я только догадки строю, предположения, так сказать...

– Ну, хорошо, допустим. В дверь, через чердак – черт с ним! Это, в конце концов, сейчас не главное... – Костя потер кончиками пальцев лоб. – Главное – цель. Не грабеж. Не уничтожение завещания. Не месть. У всех подозреваемых – алиби железные... Может, скажете, тут и вообще человека не было?

– Одна «Черная магия»? – добродушно подковырнул Максим Петрович. – Нет, человек-то, разумеется, был, да очень уж какой-то чудной... Ну, ты сам посуди: явно шел убивать, а с чем? С каменюкой! Да ведь это ж смех! Будто первобытные времена какие... Нет, Константин Андреич, тут что-то, как говорится, типичное не то. Виктор Иванов, конечно, стремится поскорей дело закрыть, закончить. Это понятно. Но как же его заканчивать, когда оно, собственно, еще и не начиналось? Что мы имеем неясного? Все! А что знаем? Да ничегошеньки. Что, скажешь, нет? Но самое-то главное, позволь тебя спросить – какого лешего мы тут с тобой за кугуш-кабанскую милицию голову ломаем? Слава богу, своих забот хватает... С одной Извалихой голова кругом идет!

И Максим Петрович, энергичным взмахом руки как бы отсекая от себя запутанное, темное мязинское дело, пошел снова разглядывать устройство ветродвигателя, достал записную книжку, принялся что-то чертить, высчитывать...

– Ну-е-с, – бормотал он, мусоля кончик карандаша. – Четыре стояка дубовых... листового железа... Не бог знает что, вполне реально, достанем... Насос вот только... Единственная, пожалуй, сложность... Ну, так неужто ж совхозные мастерские не помогут? Оплачу, сколько там будет стоить, что ж такое...

Он так увлекся своими соображениями, так углубился в расчеты, что даже вздрогнул, когда Костя вдруг окликнул его.

– Ты что? – закладывая записную книжку карандашиком, рассеянно поглядел Максим Петрович на Костю.

– Да вот насчет этого... Как хотите, Максим Петрович, а я почему-то уверен, что тут именно с окном связано. Келелейкин...

– Тьфу ты, пропасть! Опять Келелейкин! Прямо-таки загипнотизировал он вас этим окном! – Максим Петрович нехотя сунул записную книжку в карман. – Ты же ведь десять минут назад сам сказал, что не в окне дело, что цель – главное. А сейчас – мочало, начинай сначала, – опять окошко!

– Я понимаю – цель... – смущенно сказал Костя. – Но ведь когда мы о ней говорим, о цели этой, то почему-то перебираем в уме все тех же: Гелия, родню, всяких там Писляков, ну то есть тех, что на Витькиных карточках значатся... А если это не так? Если это еще кто-то, кто не попал в баранниковскую картотеку?

– В том-то, брат, и дело, что мы решительно ничего пока не знаем.

– Ну, это вы, пожалуй, слишком...

– А ничего не слишком. Вот, изволь: «Магдалина» эта самая. Раскопали в головешках кусочки от складенька и уверились, что картина сгорела. Ан, может, сгорел-то один лишь футляр, а самой «Магдалину» предварительно вынули оттуда...

– А как же пепел? Остатки сгоревшей ткани, холста?

– Фу, боже ты мой! Пепел! А от «Магдалины» он? Дальше: Мировицкий этот... Эх вы как его прытко в святые определили! Причины самоубийства неизвестны, сам факт еще несколько не говорит о невиновности Мировицкого. Как-никак – бывший поп. И тоже, кажется, какой-то доморощенный изобретатель, вроде Мязина. Их взаимоотношения – вода темная. Тут и зависть могла быть профессиональная, и какая-нибудь тайная вражда... Копался Виктор Иванов в этом вопросе? Нет. Сразу его со счетов смахнул...

Костя изумленно таращил глаза на разошедшегося друга: такого юного задора, такого темперамента он в нем и не подозревал.

– Камень этот, наконец... Э, да что говорить! – с досадой оборвал Максим Петрович. – С этим делом еще работать да работать!

– Да, конечно, многое туманно, – согласился Костя, – но...

– Многое! – насмешливо перебил его Максим Петрович. – Не многое, а все!. Решительно все! Вот, например, *это* ты как объяснишь?

Он указал на верхушку ветряка.

– Что такое? – не понял Костя.

– Да вон, видишь, лопасть-то? Вон, вон – правая, верхняя... у самой ступицы – видишь? Металл разорван, исковеркан... Словно снарядом его долбануло. Это что, по-твоему? Пожарники его так искорежили?

Здрав голову, Костя молча разглядывал изуродованную лопасть ветряка.

– Да, так вот – камень... – вспомнил Максим Петрович. – Мировицкий, кажется, говорил, что таких камней в этой местности не водится?

– Ну так что?

– Посылали камень на экспертизу?

– А как же. Судмедэкспертиза дала свое заключение...

– Это что «трещина в черепе вызвана ударом тупого предмета»? Так это ж разве серьезная экспертиза? Абстракция! Следствию камень интересен, а не вообще какой-то «тупой предмет»!

– Да... расплывчато. Я так прямо сразу же Витьке и сказал...

– Вот Виктору Иванычу и стоило бы добиться от экспертизы ответа поточней. Пригласил бы квалифицированных экспертов из Перми, из Свердловска... Это во-первых. Во-вторых – мало одной медицинской экспертизы. Нужна еще баллистическая. Да, пожалуй, и трасологическая... А уж научно-техническая – несомненно!

– Это вы поломанный ветряк имеете в виду?

– Безусловно! Как же такое обстоятельство упустить? В одну и ту же ночь «тупым предметом» убит Мязин и исковеркана металлическая лопасть ветродвигателя в двух шагах от окна... Каким «предметом» она исковеркана? Это же обязательно надо установить!

– Максим Петрович, вы – великий человек! – серьезно сказал Костя. – Ведь на ветряк-то никто из нас и внимания не обратил...

– При чем тут – «великий»! – как бы с досадой и раздражением, но на самом деле весьма польщенный, отмахнулся Максим Петрович. – Это же все ясно, как апельсин! И, главное, – камень! Камень! Тут уж научная экспертиза ну просто как воздух нужна! Минералогический анализ: что за камень, каков его химический состав? Почем знать, а вдруг это нам что-то да приоткроет? Откуда он, этот булыжник, из каких мест нелегкая его в комнату Мязина занесла?

– Не с неба же он, действительно, свалился! – вспомнив баранниковскую шутку, улыбнулся Костя.

Эпилог

Земля и небо

1

Зеленое поле аэродрома с одной стороны замыкал дощатый, барачного вида, вокзал, украшенный затейливыми, похожими на рыболовные вентера радиантеннами и полосатым колпаком ветроуказателя, с другой – поросшее муравкой поле незаметно переходило в обширные тенистые владения Митрофана Сильвестровича Писляка, то есть в городское кладбище.

Несколько крылатых работяг – преимущественно пассажирские десятиместные АН-2 и прославленные «кукурузники», дозорные необъятных пространств лесного края – мирно паслось на девственно-зеленой травке аэропорта.

Время от времени невидимый динамик дежурного диспетчера простуженным космическим голосом выкрикивал какие-то непонятные марсианские словеса.

Человек пять пассажиров, навьюченные мешками и разнообразными укладками, толпились возле красно-голубого штакетника у выхода на летное поле. Один из АНов, расстилая за собой длинный шлейф пыли, деловито выруливал к аэровокзалу.

Это был самолет рейс номер сто сорок восемь, Кугуш-Кабан – Пермь, на котором собирались лететь Максим Петрович и Костя.

Повинуясь марсианскому зову диспетчера, объявившего посадку, изнемогая под изваловскими чемоданами (сама она величественно плыла с легким балетным саквояжиком, ослепляя немногочисленную публику своей оранжевой болоньей), они уже было ринулись к штакетнику, чтобы через пять-шесть минут взмыть в кугуш-кабанские небеса.

Но в этот момент Валет молниеносным движением выскользнул из рук Максима Петровича и с радостным лаем ударился за каким-то угрюмым кудлатым псом, не спеша перебежавшим дальнюю часть летного поля. Костя ахнул, опустил наземь Извалихины чемоданы и кинулся догонять Валета.

2

Оказывалось, земное тяготение не так просто было преодолеть. Не просто далось совершение всяческих формальностей, касающихся передачи Изваловой похищенных у нее денег. Помимо всего прочего, потребовалось здесь же, на месте, соответствующими справками и выписками из надлежащих протоколов узаконить второе по счету вдовство гражданки Изваловой-Леснянской, на что также ушла уйма времени.

Пока все это совершалось – то есть печатались нужные справки, заверялись выписки и копии документов, относящихся к уточнению гражданского состояния новоиспеченной вдовы, – произошли следующие события.

Николай Чунихин откровенно признался в своих темных махинациях и, «расколовшись», выдал всю гопкомпанию, которая уже не первый год занималась хищением сплавного леса.

Гражданин Писляк М. С, бывший директор кладбища, уже не руководил вверенным ему «производством», а пребывал в довольно тесной и малокомфортабельной КПЗ, где в тысячный раз проклинал как свою непростительную оплошность, так и знаменитого кугуш-кабанского долгожителя Селима Алиева за его азиатское коварство...

Антонида пока еще носила своему благоверному передатки, но, судя по всему, неминуемо должна была вот-вот присоединиться к супругу и разделить его одиночество.

Олимпиаду оштрафовали и предупредили в последний раз, что, если она не оставит свои волхования, то ей придется отсиживать солидный срок в местах, расположенных значительно севернее Кугуш-Кабана.

Гелий тайно спроворил письмецо своему старому другу в столицу одной из отдаленных южных республик, где тот занимал весьма видный пост по линии министерства народного просвещения. Младший Мязин заметно сжался, притих, ожидая ответа, чтобы затем решительно, разом отряхнуть со своих ног прах опостылевшей ему кугуш-кабанской земли.

Прислушавшись к разумным советам Максима Петровича, Баранников срочно затребовал из Свердловской научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз опытейших экспертов. Ученый-минералог, академик с мировым именем, тщательно изучал химический состав камня, найденного возле трупа. Едва ли когда все трое – Максим Петрович, Баранников и Костя – переживали подобное нетерпение, ожидая результатов этих сложных и, как оказалось, чрезвычайно трудоемких исследований.

Но надо было уезжать, билеты лежали в кармане. До отправления самолета оставался час с небольшим, у подъезда уже дожидалось такси, и предстояло еще завернуть в гостиницу за Изваловой. Баранникова, собравшегося проводить Максима Петровича и Костю, неожиданно вызвали к академику.

– Валяйте, – сказал Баранников, – а я, как отделаюсь, примчу в аэропорт: надо же все-таки помахать платочком...

– «Согласно законов гостеприимства»? – усмехнулся Костя.

– Ну так ведь!

– Послушай, Виктор Иванович, – сказал Максим Петрович, когда Баранников был уже у двери, – отдай-ка ты мне своего Валета... Пропадет ведь он у тебя, ей-ей, пропадет! Ну, сам подумай – когда тебе с ним возиться? А у меня сад станет сторожить, получит нормальное собачье воспитание...

– В люди выйдет, – добавил Костя.

С минуту лицо Баранникова выражало сложную игру чувств.

– Берите! – наконец махнул он рукой. – Все равно, мне не до охоты... Но помните, Максим Петрович, что это – бесценное сокровище, редчайший экземпляр...

Привыкший за неделю к Максиму Петровичу и даже подружившийся с ним, Валет послушно и охотно пошел за новым хозяином и, весело прыгнув в такси, сразу же примостился у него на коленях.

Не доезжая аэропорта, там, где дорога поворачивала на кладбище, они обогнали странную похоронную процессию: в кузове огромного МАЗа тряслись четыре простых, жиденьким фуксином покрашенных гроба. Своей особой заменяя провожающих родственников и друзей, на передней скамейке одиноко и чинно сидел лейтенант Мрыхин, безуспешно пытавшийся придать своему веселому круглому розовому лицу соответствующее моменту выражение строгости и скорби.

По-разному прожившие век, по-разному мыслившие, по-разному страдавшие и радовавшиеся люди сошлись наконец в одном месте, на замусоренной платформе тяжелого грузовика, и сообщая совершали свой последний путь, чтобы под могильными холмиками, увенчанными голубыми кладбищенскими табличками с порядковыми номерами, успокоиться навеки...

Это были: Мязин Илья, Мухаметжанов Яков (он же Леснянский, он же грузинский князь Авалиани и проч. и проч.), Евгений Алексеевич Мировицкий и Таифа, фамилию которой пришлось выяснять в местном обществе по охране памятников истории, где она значилась сторожихой островного храма.

3

И вот Костя носился на своих длинных ногах по зеленой муравке аэродрома в погоне за «бесценным сокровищем и редчайшим экземпляром». Поймав наконец спаниеля и схватив его в охапку, запыхавшись, подбежал он к самолету, где у трапа дожидался Максим Петрович, внешне невозмутимый, но внутренне весьма обеспокоенный непредвиденным происшествием и получившейся из-за него задержкой. Извалиха и прочие пассажиры уже сидели в самолете, с любопытством глядя в иллюминаторы.

– А Витька? – еле переводя дыхание, еще издали крикнул Костя.

– Садитесь, садитесь! – сердито замахала руками проводница. – Собак, между прочим, надо в намордниках возить! Где у вас на нее билет?

На все поле гремел голос диспетчера, приглашавший пассажира Поперечного немедленно занять свое место. Звонко заливался радостным лаем Валет, играя с Костей, норовя вырваться из его рук, впервые, может, за все свое сонное прозябание в элегантной баранниковской квартире познавший сладость настоящей собачьей жизни.

Взревел мотор. Поднятая винтом, завихрилась золотая пыль.

Следом за Костей Максим Петрович полез по ступенькам трапа.

Но сзади раздался отчаянный крик, заставивший обоих оглянуться: преследуемый аэропортовскими служащими, к самолету по зеленому полю резво неся старший следователь кугуш-кабанской прокуратуры товарищ Баранников...

Он прорвался сквозь заслон дежурных не просто для того, чтобы распрощаться с земляками, «махнуть платочком», – он хотел что-то сообщить: что-то крайне важное, крайне значительное, удивительное даже, такое, от чего он сам еще не пришел как следует в себя...

Костя попятился назад, но проводница энергично подтолкнула его в дверь и скомандовала рабочему, чтобы убирал трап.

Пыльный ураган остервенело рванул на Баранникове одежду.

– Гражданин! Вы что – сумасшедший? – заорала проводница. – Под винт захотели?

Схватенный сзади настигшими его преследователями, Баранников что-то закричал друзьям, складывая ладони рупором, но летчик, пробуя мотор, прибавил оборотов, и Костя с Максимом Петровичем увидели, как Баранников, загораживаясь от ветра и пыли, лишь разевает рот, точно на немом экране.

Трап буквально выдергивали у них из-под ног. Проводница с мужской силой одной рукой впихивала Костю и Максима Петровича в кабину, другой нажимала на дверь, чтобы ее захлопнуть.

Баранников понял, что напрасно надрывает горло.

У него оставалось всего несколько мгновений.

Выскользнув из цепких рук аэродромной прислуги, он отважно кинулся в стремительную струю урагана. Казалось, его сдует, унесет на самый край поля. Выхватив из кармана какие-то бумаги, он в самый последний миг успел сунуть их Косте в дверную щель...

4

– Максим Петрович, голубчик, попросите мятную конфету... Ведь пассажирам обязаны давать мятные конфеты! – с тревожным лицом, прислушиваясь к чему-то внутри себя, потянула Извалова Максима Петровича за рукав, лишь только самолет, вздрагивая, двинулся по взлетной дорожке.

– Хорошо, хорошо, сейчас попрошу... – ответил Максим Петрович рассеянно, всем своим вниманием устремленный в Костину сторону, к бумагам, что передал Баранников. – Это, наверно, акты экспертиз?

– Они самые... – отозвался Костя, отделяя для Максима Петровича из пачки первые, уже просмотренные листы.

– Вот как? Ну-ка, ну-ка, что в них? – Максим Петрович жадно схватил бумаги и жадно впился в них глазами, одновременно дрожащими от нетерпения пальцами поспешно нацепляя на нос очки.

– Ага, медицинская! Так... так... – засновал он взглядом по абзацам. – Ну и длинно же пишут!.. Батюшки, еще страница! Еще! Где же конец? Ага! Так все-таки смерть от удара камнем! Отлично! Так, это что? – потянул он из Костиных рук другой акт – на плотной, гладкой, мелованной бумаге с типографским тиснением у верхнего обреза. – Ага, анализ повреждений на ветряке! «Для выяснения и разрешения указанных вопросов были произведены... Химико-минералогический анализ крупниц, обнаруженных в бороздах и царапинах на металле, сравнение микрофотографий...»

Промычав остальные фразы про себя, Максим Петрович вдруг дернулся в кресле, сильно толкнул Костю локтем в бок.

– Вот это да! Одним и тем же камнем!

Он выглядел немало удивленным, даже озадаченным, хотя кто-кто, а уж он-то не должен был удивляться.

Костя не почувствовал толчка в бок.

С удивлением, только еще куда большим, чем было у Максима Петровича, круто выгнув брови и даже приоткрыв рот, пробежал он текст последней бумаги.

Это было заключение знаменитого академика.

...Суммируя вышесказанное – наличие на поверхности черно-бурой коры плавления, возникшей при очень высоком нагреве (порядка 100–200 тысяч градусов), какого никак не могло получиться в огне пожара, заметно выраженных регмаглиптов («А, это наверно, мелкие вмятинки!» – догадался Костя), наличие в общей массе редко встречающихся на Земле минералов: шрейберзита, маскелинита, вейнбергерита, а также лавренсита, который известен как очень нестойкий в земных условиях и в исследуемом предмете найден уже вступившим в соединение с кислородом, учитывая также указанные выше особенности структуры, а именно...

Читать подряд не было никакого терпения.

Костя перевернул страницу и впился глазами в главное – вывод:

...таким образом, представленный на исследование предмет следует классифицировать как несомненный каменный метеорит (азролит), упавший на Землю из мирового пространства.

Костя и Максим Петрович, навалившийся на Костино плечо, шумно дышавший ему в самое ухо, одновременно прочитали эти четкие машинописные строчки, ниже которых кудряво вились буковки профессорской подписи, и, прочитавши, одновременно взглянули друг на друга...

5

Стрелка высотомера трепетала возле двух тысяч.

– Мировая криминалистика, – начал Максим Петрович, снимая и бережно укладывая в футляр свои «академические» очки, – мировая криминалистика...

– Ай! – пискнула вдруг Извалиха. – Мне плохо...

Она сидела, надув щеки, бледная, с вытаращенными глазами.

– Потерпите немного, – сказал Максим Петрович. – Через пятнадцать минут приземлимся... Мировая криминалистика, – повторил он, обернувшись к Косте, – не знала ничего подобного. Счастливчик же Виктор Иваныч! Такое исключительное дело... Ничего, ничего, Евгения Васильевна, идем на снижение – видите?

Стрелка показывала тысячу восемьсот.

– И все-таки, что ни говорите, – возразил Костя, – а есть на белом свете дела и почуднее...

– Ты что, собственно, имеешь в виду?

– Да вот те лягушки. Подумайте, тридцать пять – и все разного возраста и цвета...

Кугуш-Кабан – Воронеж.

1968 г.

СОДЕРЖАНИЕ

День первый	1
День второй	27
День третий	126
День четвертый	170
Эпилог	218

Владимир Александрович Корабленко,
Юрий Данилович Гончаров

БОЛЖИ

Уголовный роман

Редактор Л. Т. Давыденко,
Художник В. М. Вислюков,
Техн. редактор С. Г. Раменская,
Текст. редактор Т. М. Алтухова,
Верстатель М. Г. Пономарева.

Сдано в набор 13/V 1968 г. Подписано в печать 20/V 1968 г.
Формат 64 x 103^{1/2} мм. Усл. печ. л. 11,34. Уч.-изд. л. 11,42. №
на 48 коп. ДЭ00627. Тираж 50000 экз. Заказ № 5064.

Центральное Черновицкое книжное издательство,
г. Ворошилов, ул. Дзюбуны, 24.
Ворошилов, телетр. изд-ва «Буковина», гр. Революции, 38.

13

ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО